

ЖАН ЛОМБАР

АГОНИЯ

История в романах

Жан Ломбар

Агония

«Public Domain»

1888

Ломбар Ж.

Агония / Ж. Ломбар — «Public Domain», 1888 — (История в романах)

ISBN 978-5-486-02032-2

Жизнь Жана Ломбара (1854–1891) определяется одним словом: усилия. Трудолюбие этого бедняка было неукротимо. Он был неизвестен и, чтобы пробиться, поднимал горы. Будучи необразованным, он узнал больше, чем знают ученые. Простой работник, золотых дел мастер, он создавал газеты, писал романы, стихи, биографические статьи... Ломбар, которому жизнь доставалась с трудом, не отступал не перед чем. Он весело нес каторжное бремя литературного труженика и среди других работ по заказу находил время писать свои романы, редкие по силе и оригинальности. Значительная часть его литературного наследия разбросана без подписи или под псевдонимами по разным изданиям. Роман «Агония», публикуемый в данном томе, посвящен эпохе недолгого правления императора Элагабала (III в. н. э.). В нем ярко и достоверно повествуется о временах крушения Римской империи. Ломбар рисует страшную картину завоевания и осквернения Рима сладострастными и свирепыми культами Азии. Здесь всё: непристойная и разгульная жизнь римской знати; избиение христиан и надругательство над римскими святынями; пожары и гнусные обряды; восстание плебейских масс и бесчинства наемников-преторианцев; неистовая похоть обезумевшего народа... Борьба различных общественных сил сливается в финале в картину всеобщего хаоса и уничтожения, ведущего к гибели всех главных героев.

ISBN 978-5-486-02032-2

© Ломбар Ж., 1888
© Public Domain, 1888

Содержание

Книга I	7
I	7
II	10
III	14
IV	18
V	23
VI	26
VII	29
VIII	32
IX	34
X	39
XI	42
XII	44
XIII	46
XIV	50
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Жан Ломбар

Агония

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2008

© ООО «РИЦ Литература», 2008

* * *

Теодору Жану

*Тому, кто с некоторыми другими, несмотря на неприязнь и
неблагодарность, остался другом прежних дней.*

Жан Ломбар

*«Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и
пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых
не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет
его, и явится».*

(Апокалипсис, XVII, 8)

Книга I

I

Корабль равномерными ударами весел бороздил сапфировое пенящееся море, и красный парус едва округлялся в царящей вокруг тишине, ее не нарушал никакой звук: ни призывы экипажа, ни песня гребцов на рядах скамеек под мерный такт жезла гортатора; а путешественники, облокотясь о борта судна, мечтали безмолвно.

То были: римлянин, два грека, кипрский купец, александриец, несколько итальянцев, возвращающихся из восточных портов. Хотя и утомленные долгим путешествием, остановками по берегам, ночами, протекшими под указаниями звезд, они привыкли любить это море, с которым теперь предстояло им расстаться с сожалением. И поэтому перед их глазами еще виднелись города на утесах и берегах, храмы, моря, пересеченные островами, сожженными солнцем и истерзанными бурями, – краски всех оттенков, от серебристо-белого до огненно-красного вперемесь с синим и зеленым.

Под взглядом прореты, который на носу корабля следил за горизонтом, одни матросы налегли на реи, другие натягивали парус, и корабль запрыгал по волнам к еще невидимому берегу, с прямо стоящими римскими знаменами, которые капитан-магистр приказал укрепить на палубе.

Море, бледное, зеленое, темно-синее, было испещрено стаями длиннокрылых птиц. Небо, совсем белое на горизонте и лазурное в зените, испещренное медленно плывущими облаками, раскинулось беспредельной пустотой, и морская гладь дышала печально торжественной тишиной, спокойной грустью, почти чарующей.

Коснувшись песчаного дна, корабль, высоко подняв носовую часть, остановился на миг. Тогда гортатор поднял жезл, и содрогнувшиеся на скамьях гребцы возобновили свою песню в ритме, более резком, более неровном. И весла равномерно стали подниматься и опускаться, унося корабль на вздымающейся пене меловой белизны и под резкими движениями руля в руке кормчего-губернатора – в красной войлочной шапке на голове.

Теперь путешественники беседовали медленно под очарованием путешествия и в предчувствии близости берега, возвещаемого уже совсем иной качкой, чем было в открытом море. Магистр, сидя на своем троне, подавал знаки матросам; невольники, появляясь из квадратных люков, выбрасывали на палубу товары, тюки тканей и кож, сундуки, украшенные медью и слоновой костью, круглые ящики с книгами в свитках, сильно пахнущие благовония.

С открытой головой и шеей, в шелковистой лацерьне поверх короткой туники и узкой субукулы с рукавами, Атилий, стоя, смотрел на приближающуюся землю. На его пальцах были кольца с рубинами и сапфирами, сандалии из красной кожи у ступни украшались серебряными солнцами; тонкая рыжевато-белокурая борода волнисто окаймляла лицо, озаренное зеркальным светом его глаз, черно-фиолетовых, красивого разреза; и их блеск противоречил общему выражению лица – ни изнеженный, ни мужественный, скорее инертный.

Мадех направился к нему. Он был в азиатской желтой волочащейся одежде, с широкими рукавами с черными полосами, в митре на завитых кудрях, на ногах коричневые сандалии с ремнями, идущими от подошвы и обвивающими лодыжки ног, в ушах золотые кольца, а на груди, покрытой холстом с красными и желтыми полосами, амулет, – черный камень в виде конуса.

Берег, покрытый тенью деревьев, восстал в розоватом свете; целый город выступал из горла скал, с храмами, арками, желтыми домами, массой зелени, лесами пиний, взъерошенных вдали, а на подходе к нему – рейд, наполненный судами с цветными парусами, покоящими

свою тень на округлой ростре. Другие суда шли под парусами. Горожане в туниках и в белых развевающихся тогах стремились к набережным; дети бежали к воде по берегу, на котором мелкие камни светились на мягком песке, а в мощном шуме голосов и окруженные движением пыли солдаты – целая манипула – звеня мечами и прямоугольными щитами о свои кирасы и железные поножи, выходили с форума.

Между доками голос гортатора, повеселевший, слышался вместе с песнью гребцов; на палубе, теперь совсем оживленной, отдавал приказания магистр; губернатор с кормы отвечал прорете, сидевшему на носу судна, а пассажиры готовились сходить на берег. Двое греков с роскошными черными бородами слушали рассказ кипрского купца, изображавшего жестами свою ссору с невольником, а александриец – короткий, толстый, в полосатой коричневой одежде с калаприкой, с опущенными крыльями на голове – отвел в сторону Мадеха, почтительно, осторожно, угадывая в нем жреца Солнца.

– И ты тоже, и ты идешь в Рим, как и я, как Арист и Никодем, эти греки! Твой господин кажется печальным, тогда как мы все рады увидеть город, омываемый Тибром, но не имеющий очарования Александрии. Знаешь ли ты Александрию? Если я иду в Рим, то для того, чтобы сравнить его с моим городом, куда я вернусь скоро, потому что Рим, не правда ли, место погибельное для людей, желающих остаться благоразумными, каким должен быть я, Амон.

И так как он продолжал говорить многоречиво и даже дернул его за широкий рукав, чтоб привлечь внимание, то Мадех покачал головой и отошел от него к Атиллию; тот по-прежнему, глядя перед собой, стоял неподвижно на палубе корабля, который вели теперь на буксире два небольших судна в порт Брундизиума, еще загроможденный камнями и сгнившими судами, которые некогда велел здесь затопить цезарь. Обрисовывалась близость города: рыбаки чинили свои сети на берегу, усеянном обломками досок; в глубине открытой маленькой бухты плотники строгают мачты и доски; на высоких кормах причаленных к берегу кораблей сушились одежды, рабы с лоснящимися торсами, с напряженными мускулами наполняли камнями промежутки между двумя стенами мола, терзаемого волнами, и глыбы, падая, звенели.

Атилий и Мадех сели в барку с кормовой фигурой, придававшей ей сходство с гигантской лирой, и понеслись среди скопления кораблей. Тут были и триремы с короткими мачтами, годные для войны, с рядами ритмично движущихся весел; катафракты с палубой и афракты без палубы; только-только пришедшие купеческие суда или готовящиеся отплыть; актуарии, служившие для быстрых переходов или для открытий; фазелы, которые приходят из Кампании и имеют форму веретена; кашеры и келоксы, совсем круглые гаулы, курбиты в форме корзин, гиппагоги для перевозки лошадей; наконец, неутомимые либурны, которые встречались всюду и победно поднимали свои паруса во всех портах Римской империи.

К лодкам путешественников стали примыкать другие лодки: продавцы тканей и фруктов, кричащие о своих товарах, посланцы от гостиниц, почти все греки, хозяйки проституток, с ужасно накрашенной старой кожей, приглашающие остановиться в лупанарах Брундизиума.

Атилий оставался безмолвным. Но Мадеху, на миг ожившему, грезился его родной сирийский городок, откуда увлек его римский легион, покаравший восстание азиатов и разлучивший его с другом, незабвенный облик и имя которого исчезли от него, быть может, навсегда... Потом легион отдал его богатой семье Атиллиев; один из их предков был префектом Рима, и они, разделяя судьбу Мезы, бабки Элагабала, сделались совсем азиатами... Сестра Атилия, которой он тоже прислуживал и маленькие жестокие руки которой часто причиняли ему боль, эта сестра была теперь при Сэмиас, матери юного и чарующего императора, уже посвященного Солнцу. Весь Эмесс видел его в длинной и сверкающей одежде жреца из пурпура златотканого, в тиаре и драгоценных геммах! Он, Элагабал, сын Сэмиас, поклонялся Солнцу, как символу жизни, все наполняющей, все одушевляющей и скрывшей свою силу в Черном Камне, силу мужского начала; и Мадех так же, как и многие другие, принес жертву

богу, отдав себя Атиллию, потому что мужская любовь, в религиозном значении, была его посвящением сирийскому культу.

С нежностью Мадех смотрел на Атиллия, давшего ему свободу, и эти летучие воспоминания не вызвали в нем и тени сладострастного чувства. Он думал о том, что юный Элагабал шел в Рим после победы в Эмессе, вместе с Сэмиас и Мезой, со свитой жрецов и загадочными магами, с целой армией детей Востока и римских семей, присоединившихся к его делу, и что ему, Мадеху, предстоит необычная жизнь вместе с Атиллием, которого новый император послал к сенату известить о его восшествии на престол. Насколько отраднее было бы небо Эмесса и дворец его господина, выходящий на аллею кактусов, с садами на террасах из красной земли, наполненных цветами, громадными, как луны, лотосами, розами, лилиями! Ленивый телом, но гибкий умом, он был склонен к грезам, как все люди Востока. И потому деятельность Рима его пугала, и он инстинктивно предпочел бы жизнь *там*, с тихими наслаждениями и покоем, с жертвоприношениями Солнцу, сирийскому богу в образе Черного Камня, финикийскому богу Хел, критскому богу Алелиос, гальскому – Белен, ассирийскому – Бел, греческому – Гелиос и римскому богу Соль, которого империя отныне будет чтить под именем Элагабала...

Город, к которому они подошли, своими узкими улицами и домами из красного и желтого кирпича напоминал сеть, испещренную квадратами форумов и садов, дворцов с колоннадами, арками, бронзовые барельефы которых сияли на ярком солнце, термами с портиками, храмами, двумя казармами с трофеями на красных и желтых пилястрах, гостиницами и лавками утвари, тканей и припасов, необычайно оживленными издали. Город кишел деловыми италийцами, – иные из них взвешивали в горсти руки образцы зерна; моряками, с песнями выходившими из термopol, харчевен, где они пили подогретые напитки; патрициями, направлявшимися в бани в сопровождении шумной свиты паразитов. Богатые матроны пряли, лежа в закрытых носилках, оконца из слюды которых ярко блестели; вольноотпущенники проталкивались среди рабов, перед которыми они были горды, и среди медленно гуляющих граждан, перед которыми они оставались смиренными; купцы громко разговаривали; среди белых тог и полосатых туник с бахромой или с пурпурной каймой жрецы своей длинной одеждой, фиолетовой, желтой или красной подметали тротуары, вышиною в фут; мерно покачивали своими грудями проститутки с набеленной шеей, ярко накрашенными губами и бровями, соединенными в одну линию антимонием; и дети, голые от бедер до ступни, в одной только куртке, изодранной на плечах, на груди и на животе, бегали и подставляли ножку иностранцам в деревянных, очень высоких сандалиях, обращавших на себя внимание колыханием их открытых округленных частей тела.

Атиллий и Мадех прошли через перекресток, вымощенный острыми камнями и покрытый корками лимонов и дынь, мясистыми ломтями тыкв рядом с валявшимися тут же алыми стручками перца. Вокруг открыты были лавки, украшенные мозаиками и фресками, с именами владельцев, выписанными большими красными буквами над сводом двери. Из булочной шел дым от горячего очага; два осла вертели жернова, и движение их кругов проходило перед глазами, чередуясь с печальными фигурами животных, их прямыми ушами над глупыми мордами. В красильной работницы мяли ногами ткани в чане и чесали сукно для плащей, а хозяин нагружал на человека, мокрого от пота, корзину, из которой текла краска. В стороне, в полусвете мастерской, выступали формы нагих тел, расположенные на полках и привязанные веревками к стене, – ваятель размещал идолов, маски из обожженной глины и бюсты с застывшей судорогой на лице. На углу перекрестка учитель школы, бедно одетый в шерстяную тунику с заплатами, писал мелом на короткой аспидной доске, посреди кучки учеников, запинаящихся в варварской латыни. В это время подошла женщина с хнычущим ребенком; она поручила его педагогу, почтенный взор которого остановился на миг на ученике, и бросила ему несколько мелких монет, тотчас же опущенных им в пояс туники, вздувшейся в этом месте над худобой его живота, по-видимому, пустого.

II

Именитый гражданин Брундизиума ожидал Мадеха и Атиллия к себе в дом, обширный, греческого стиля, стоящий близ стен и на некотором возвышении над городом; туда они вошли по ступеням лестницы, охраняемой двумя грубыми каменными львами с гривами в завитках, как у вавилонских львов. Волоча за собой цепь, приковывавшую его к его жилищу, выходящему в сени, привратник позвал номенклатора, а тот доложил Туберо. Почтенный гражданин крепко поцеловал губы и руки Атиллия и извинился, что принимает его в домашней одежде для отдыха: в свободной и длинной тунике и в плоских сандалиях. Время было уже за полдень, и гнетущая, как свинец, жара царила, погружая дом в тяжелую сонливость.

– Ты не уедешь завтра в Рим, – сказал Туберо, провожая через немые комнаты дома Атиллия и Мадеха к баням в глубине сада, наполненного зелеными и рыжими растениями, деревцами и густыми кущами, пересеченными солнечными тропинками; оттуда послышался крик. Подвешенный к ветви дерева с привязанным к ногам железным грузом невольник подвергался бичеванию веревками с острыми крючками на концах. Спина его покрылась пятнами точно мрамор; бедра покраснели от крови, которая струилась по земле; он закрыл глаза и перестал кричать, потому что первый крик стоил ему слишком многих ударов; он кусал себе нижнюю губу, страшный, со слюной во рту; а рабы, сидя вокруг на корточках, дико смеялись.

Но Туберо увлекал дальше своих гостей, показывая им свои владения с самодовольством выскочки; и не вполне очнувшись от своей сиесты, отирал пот на лбу краем своей ярко-красной длинной одежды, едва касавшейся жирных складок кожи на ногах, волочивших желтые сандалии по песку аллей.

В саду, с розовыми лаврами и рожковыми деревьями, были тенистые уголки, осененные листвой, сочившейся в летней жаре; неподвижные массы буксов и розмаринов, подстриженных в виде урн, пирамид, больших латинских букв, египетских домиков и канделябр чередовались вдоль дорожек, пересеченных ручейками в низких берегах. Было там необычайное множество мраморных и бронзовых статуй, почти соприкасающихся локтями в сравнительно узком пространстве: гладиаторы, ораторы в тогах, увенчанный лаврами император, полногрудая Венера; затем бюсты на подставках; несколько киосков возле бьющих фонтанов, изливавшихся терракотовыми утками, застывшими в вазах; наконец, трельяжи и беседки из разметавшейся зелени, с каменными скамьями, под солнцем, сжигавшим густую траву газонов.

В просветах между деревьями и кустами виднелся ближний берег с городскими строениями – виллами с белыми и розовыми террасами, принадлежащими богатым гражданам, за ними прямые полосы дорог, по которым тянулись нагруженные повозки, запряженные быками, а дальше – клочки синего моря и на нем ростры одномачтовых судов с равномерным движением их коротких весел снизу вверх и сверху вниз.

Рабы раздели Атиллия и Мадеха в кальдарии и облили их водой, выделявшей голубоватый щелочной осадок, который омыл неясные очертания мозаики пола. Фригадарий привлекал их к себе своим бассейном, и они погрузились в него. В лепидарии их натерли скребками и горячими полотенцами после того, как умастили маслами и мазями, очистили ногти и вылили на их руки и ноги целые фиалы благовоний, а волосы натерли сирийской эссенцией. Затем на них надели синте시스, мягкие белые туники без рукавов, предназначавшиеся для иностранцев.

Именитый хозяин, расставшийся с ними на время их купания, вернулся вместе с двумя гражданами Брундизиума, и номенклатор поспешил возвестить:

– Эльва и Мамер желают приветствовать чужестранцев, твоих гостей.

Он обращался к Туберо, который посмотрел на Атиллия и равнодушно сказал:

– Это мои клиенты; я приказал их позвать к ужину, которому скоро наступит время.

Эльва был очень высок, с костистым лицом, остриженной коротко головой, отвисшей нижней губой и маленькими глазами под веками в складках, как у жабы. Мамер толстый, бородатый, с животной ленивой тучностью, с покачивающейся головой и массивными плечами, походил на слюнявого гиппопотама.

Они медленно последовали за Туберо и его гостями в атрий, где их ожидала жена хозяина со своими невольницами – гречанками и африканками. Атрий был вымощен красным мрамором, его бассейн, устроенный под квадратным отверстием потолка, освещался солнечным лучом, который скользил внизу по зеленому гранитному плинтусу стены, разделенной пилястрами. Шерстяные занавеси с изображением химер, варварской окраски, затканые фиолетовыми полосами, закрывали входы в соседние комнаты – кубикuly, обрамленные стенными фресками: ландшафтами, морскими видами, танцовщицами, порхавшими среди колонн, и амурами, державшими за узду коней, уносящихся вдаль.

Жена именитого хозяина, Юлия, встала, и ее тень заколыхалась на колеблющейся воде бассейна; на поверхность всплыли две миноги, глаза которых, полные как бы жажды человеческого тела, остановились на Мадехе и на его амулете, блеснувшем на солнце. Потом, поклонившись, она со своими женщинами ушла в шелесте широких одежд и звенящих украшений.

Брундизийцы – и Туберо с ними – очень громко стали говорить о событиях, волновавших империю, о смерти Макрина и его сына Диадумена Увенчанного, прозванного так по сплетению жил на его лбу в виде короны; и об Антонине Авите, сыне Сэмиас и, может быть, незаконном сыне Каракаллы, названном Элагабалом, потому что он был жрецом Солнца. Один из граждан растерянно качал головой:

– Боги Италии исчезнут ради Черного Камня, которому поклоняется Антонин; он и нас заставит поклоняться этому богу в своем лице.

И с важностью они ожидали, что скажет Атиллий, приехавший с Востока, посланец Элагабала. Атиллий, не колеблясь, стал защищать Черный Камень, означавший жизнь и ее начало. Что такое жизнь? Она исходит от Солнца, все оплодотворяющего, поднимающего рост семян и распространяющего их через атмосферу, изображаемого в своей силе органом размножения, фаллосом; и иначе быть не может. Могут ли сравняться с ним другие боги, греческие, римские, египетские и персидские: Митра или Хронос, Сирапис или Агура-Мазда, Мирионима Изида и Зевс рогагоносящий? Не потому, чтоб он отвергал этих богов, но как они ничтожны перед Черным Камнем, Черным Конусом в форме мужского органа, изображающим всецело жизнь! Ныне империя нашла определенную форму символа единой жизни и завоевала себе высшее божество в образе Черного Камня Эмесса, и почему не покинуть переходные формы других богов, менее ясно выразивших эту идею?

Все, что он говорил, казалось брундизийцам так темно, что они покачивали головами, угадывая богохульство, но не улавливая, в чем оно выражалось.

– Что такое единая жизнь? – продолжал Атиллий. – В самом начале жизнь единополоя совершала зачатие и рождала сама собой; мир был бессилен испытать счастье со времени разделения полов; поэтому совершенство состояло в слиянии рождающих сил в единство. В этом истинное значение символа Черного Камня, и поклонение ему Антонин Элагабал, пятнадцатилетний император, хочет установить в Риме, куда он стремится под солнцем дней и звездами ночей!

В ответ на его утверждение один из двух граждан, кривой, глядя на него единственным глазом, почти круглым, качая склоненной головой, сказал:

– Ах, чувствую я, убьет нас всех этот император со своим Востоком и со своим богом, который есть только камень; со своим культом, который хочет нас возвратить в единство. Но это его единство, оно также и твое, – нет, никогда Рим не примет его добровольно! Он убьет Рим, твой император! Он убьет нас всех своим культом, который отнимет жизнь ради поклонения жизни!

В словах Аспренаса, этого брундизийца, была такая отчаянная ненависть к Востоку и противоестественным извращениям, которые виделись в единстве Черного Камня сквозь таинственные слова Атиллия, что другой гражданин, человек благоразумно умеренный, заговорил, придерживая на животе ровные складки тоги:

– Ты думаешь, Рим примет восшествие Антонина и допустит к себе его толпы людей Востока, желающих подчинить себе Запад? Конечно, нет!

– Рим примет всё, – ответил Атиллий. – Восток станет выше Запада, Черный Камень победит всё, и от его победы родится андрогин!..

Он произнес это мечтательно, едва отрешаясь от своих отвлеченностей, опустив одну руку, а другой держа складку своего синтесиса и бросив на молчавшего Мадеха глубокий, но быстрый взгляд, странно нежный.

Уже темнота наступила в доме Туберо; он обернулся, презрительно, к Эльве и Мамеру, замыкавшим собой группу гостей:

– Послушай, Эльва, ты, умеющий пить горячую воду, как вино, и ты, Мамер, прыгающий подобно слону, двигайтесь к триклинию. Кто из вас съест и выпьет больше?

Мамер подпрыгнул на одной ноге, держась за другую своей жирной рукой, быстро повернулся и побежал с каким-то кудахтаньем к столовой, а Эльва, следуя за ним, улыбался своим гнусным лицом.

Невольники ставили на стол металлическую посуду с выпуклыми украшениями, с львиными лапами на ножках, зияющими посреди триклиния; сложенное из камня ложе в виде подковы, примыкавшее к столу, было покрыто пышными подушками. Другие рабы осветили залу четырьмя канделябрами с несколькими лампами, укрепленными вершиной своей оси на треножнике, и бронзовой люстрой, подвешенной к потолку.

Юлия возлегла на ложе; легкая цикла из тонкой ткани, широкая и длинная, едва скрывала ее тело; грудь была открыта; волосы причесаны в форме груши, на шее бирюза, золотой браслет без цепочки на левой руке. Ей едва было тридцать лет; крепко сложенная брюнетка с подрисованными ресницами и накрашенными губами, придававшими ее лицу наглый вид. Туберо развалился справа от нее, Атиллий и рядом с ним Мадер – слева, Потит и Аспренас на другом конце триклиниума; Эльва и Мамер на скамьях.

Облокотясь левой рукой на подушки, свободную руку они протягивали к столу, на который рабы поставили серебряное круглое блюдо. Вино было подано в амфоре с двумя ручками; его пили из высоких чаш на ножках или из хрустальных диатрет, с узором по кругу из драгоценных камней: редкость в Брундизиуме. Чтоб лучше высказать свою важность и пренебрежение, Туберо велел подать Мамеру большую чашу горячей воды, которую тот выпил залпом с большим удовольствием.

Они ели устрицы, печеные яйца, оливки, бобы, грибы, колбасы и рыбу, подававшуюся на различных блюдах, а паразиты, получавшие подачку, смотрели глазами, в которых хотели выразить восхищение.

Среди ужина Юлия переложила ногу, обнажив ступню, обутую в белую сандалию с загнутым носком, и при этом движении сквозь разрез ее циклы была видна верхняя часть бедра, оттененного розоватым очертанием тела.

Рабы принесли на длинном агатовом блюде жареного павлина, и Туберо воскликнул:

– Рим мог бы мне в этом позавидовать! Ни у кого не найдется ничего подобного!

Держа нож с ручкой из слоновой кости, приплясывая и изгибая стан медленно приближался структор; придерживая одной рукой свой шерстяной амикт, он, покачиваясь, другой рукой резал птицу и быстро подвигал куски на край блюда; Аспренас и Потит скромно рукоплескали его искусству.

Пили разное вино: кекубское, фалернское, каленское, фармийское, наливая его в кратеры. По временам Туберо, под видом воздаяния богам, проливал несколько капель на стол, который тотчас же отирали губкой.

Послышались звуки кротал и кимвалов, щипки струн египетских тамбурахов и греческих лир, трепетание цистр и воркование флейт. И появились женщины в развевающихся одеждах – они стали ожидать знака. Это было во время третьей части ужина, когда подавались плоды, печенья и иноземные вина; их пили из чаш с двумя ручками, опущенных в большие бронзовые кратеры с эмалью. Для лучшего пищеварения ужинавшие повернулись друг к другу спиной, вытянув ноги: Туберо громко рыгал, Аспренас и Потит тупо смотрели, Юлия все больше открывала верхнюю часть бедра, бросая взгляды на Атиллия, тихо разговаривавшего с Мадехом. Паразиты поедали кушанья, оставленные всеми, и в зале струился дым от ламп, начинавших чадить.

После медленной прелюдии женщины обошли вокруг триклиния, изворачиваясь бедрами, вытягивая ноги, как будто становясь от этого более высокими. Потом одни из них продолжили играть, причем все ту же мелодию, а другие начали танцевать, сближаясь и развевая тонкие одежды, поднимая их до головы, открываясь от шеи до бедер. И, полуобнаженные, они кружились в сладострастном вихре под звуки кротал и кимвал, под крики флейт, смех цистр, звон тамбурахов и лир. Затем они удалились неровными шагами, сопровождаемые финальными звуками, среди которых флейта выражала остроту жгучего наслаждения; а за ними последовали Эльва и Мамер, которых выгнал толчками ноги Туберо, точно опьяневший, и они побежали через темные коридоры и атрий в сени, при громком смехе Юлии и тупом самодовольстве Потита и Аспренаса; последний смотрел на эту сцену своим единственным круглым глазом, печальным и тревожным.

Туберо велел поставить для Мадеха и Атиллия бронзовое ложе в одной из комнат, которую он им показал, отодвинув край занавески. А затем он пошел вслед за Юлией, которую окружили женщины с ее ночными одеждами в руках. Аспренас и Потит направились домой в сопровождении рабов с фонарями. Дом погрузился в ночное спокойствие, едва нарушавшееся звуками лиры, которую одна из музыкантш настраивала в глубине кубикул, стенаниями подвергнутого бичеванию раба, доносившимися извне, стуком ключей, запиравших тяжелые двери в глубоких нишах.

III

Душное утро при восхитительно ясном небе поднималось над Брундиизиумом, окутывая его волнуемым туманом, который едва рассеивался под лучами восходящего солнца. У дверей дома Туберо ожидал цизий, двухместная повозка на двух колесах, запряженная мулами, которые помчали Атиллия и Мадеха на окраину города, а затем на Аппиеву дорогу, ведущую сюда из Рима. На туманящихся полях шумно двигались быки, запряженные в громоздкие плуги, и раздавались крики рабов, которые выглядывали из-за кустов, чтобы посмотреть на проезжающих. Изредка погонщик, апулиец, спрыгивал с мула и бежал рядом с колесами, осыпая своих животных ударами бича, и его ярко-красная одежда резко отличалась от темной шерсти животных.

В таверне у дороги, где они остановились в полдень, люди ели, сидя на скамейках; солдат вертел в руках каску, а в углу бродячий цирюльник брил путешественника, который быстро подносил руку к подбородку, наверное, порезанному бритвой. Все обернулись, чтобы лучше разглядеть Атиллия, но в особенности Мадеха; его митра, развевающаяся одежда в цветных полосах с широкими рукавами и конусообразный амулет вызвали перешептывание многих, и их губы открывали ряды гнилых зубов.

Оба грека и александриец, с которыми они расстались накануне, ели вместе за низким столом; черные бороды двух первых были против круглого лица александрийца, слушавшего их с восторгом. Угадав простака в наивном, хотя и осторожном Амоне, греки с красноречием, свойственным их нации, издеваясь над ним, осыпали его рассказами, тут же ими придуманными. И бороды их самодовольно чернели, когда они уверяли:

– В Риме есть женщины с шелковыми и золотыми волосами, растущими естественно благодаря одному божественному камню, который они глотают во время своих месячных. Их стригут, но они продолжают расти. Срезанные волосы сажают в порошок из золота и оникса. И тогда рождается цветок, который и есть божественный камень. Таким образом все связано между собой. Так хочет великий Зевс! – Аристэс хитро мигнул Никодему, который в свою очередь изощрылся:

– Что ты рассказываешь! А вот я видел, – обычное дело! – как Тибр породил в полнолуние слонов, зеленых, как тисовое дерево!

Ни тот, ни другой не были в Риме.

После легкой еды Атиллий и Мадех уехали вместе с Амоном и обоими греками; Амон в двухколесном карпенте, нагруженном огромным деревянным сундуком, а двое других в бастерне, повозке в виде носилок, запряженной мулами со звонкой упряжью. Они проехали несколько белых городов с низкими домами, с виноградниками на крышах; потом несколько поместий, где обнаженные до пояса рабы со скованными цепью ногами рыли каналы или били деревья жердями, отрясая фрукты. Послышалось пение. Это шли быстрым шагом солдаты с дротиками, пиками и щитами; впереди на лошади центурион. Толпы бедных людей: корзинщиков, сапожников, кузнецов, целые семьи эфиопских плясунов и укротителей змей везли на повозках с кожаным верхом и колесами без спиц все свое имущество, своих жен и детей с татуировкой на лбу. Иногда матери шли пешком, согнувшись под тяжестью детей, которых несли на спине в мешках из грубой шерсти, и оттуда виднелись только смеющиеся лица и маленькие подвижные руки.

После Капуи начались равнины, пересеченные каналами, орошавшими земельные участки. Пастухи Кампании, едва прикрытые кожаной одеждой, пасли стада серых овец, тянулись пастбища с оградами из укропа, богатые фермы италиков со множеством слуг и животных. Изредка, с любопытством дикарей, приподымались кочевники, отдохавшие на обочинах дороги, и пальцами указывали на путешественников.

Дорогу, мощенную плитами из лавы, бороздило множество повозок: цизии, бастерны, рэды, карпенты, эсседы, сарраки, закрытые и открытые носилки всякого рода. Чтобы укрыться от солнца, путешественники располагались под акведуками или на склонах рвов, покрытых опаленной зноем травой. Вся эта толпа приходила в шумное движение, когда из соседних лесов, оживленных храмами, появлялись жрецы доброй богини и плясали, точно белые и красные видения. День наполнялся звоном цистр и тамбураков, воплями священного беснования – потом эти звуки угасли, как бы растворяясь в тишине.

Ожидаемый вскоре приезд Антонина Элагабала вызывал общие разговоры, в особенности близ Рима. Люди Востока не скрывали своей радости. Их было много, они ехали из всех краев Африки и Азии, – из Мавритании, Ливии, Египта, Малой Азии, Персии, Вавилонии, Мидии, с разными пожитками на всевозможных повозках. Жители Запада: кельты, старые италики, иберы, лигуры, даки, любящие только идеальных богов, отвлеченные принципы и перевозданную силу, с огорчением видели, что им противопоставляют богов сладострастия, смешивают оба пола и воздвигают не женщину-производительницу, с чем бы их углубленная в себя душа еще могла бы согласиться, но обожествление начала жизни под видом материализованного фаллоса. Эти заблуждения были им непонятны, так как в их глазах женщина есть существо отдающееся и таинственно чистое в акте зачатия, слишком священном и потому всегда сокровенном.

В часы временных остановок, объединявших всех путешественников, завязывались горячие споры. Оба грека, скептики и ироники, смеялись, а египтянин давал простор своему красноречию. Он открывал нежные стороны своей души; его круглое лицо расцветало при воспоминаниях о родной стране, об упорно живущих легендах, восстающих против пороков, которые можно предвидеть в учении о жизненном начале, об идиллической любви на берегу Нила, под взорами священного Ибиса, при звуках флейт и изогнутых тамбурахов, о любви к молодым египтянкам в легких одеждах, приходящим за водой с амфорой из красной глины.

Восставали не только против Черного Камня, бога Элагабала, кого так горячо защищал в Брундизиуме Атилий перед друзьями Туберо, но также и против Крейстоса, Бога христиан. Евреи, и между ними один высокий и высохший, как мумия, человек, по имени Иефуннэ, направлявшийся в Рим вместе с семьей, старался возложить на него ответственность за гибель его народа. Почему Крейстос допустил все народы к общению вместо того, чтобы призвать только их, добрых евреев? Если бы он это сделал, они бы не стали мучить его! Амон, беседовавший с Иефуннэ, качал головой, так как, напротив, космополитизм Крейстоса был ему по душе.

Этот Иефуннэ, отец многих детей, и между прочим, тонкой, бледной девушки с глазами серны, окаймленными черными кругами, этот Иефуннэ заставил египтянина разговаривать и узнал, зачем тот направляется в Рим. Еще цветущий в свои пятьдесят лет, Амон нажил состояние, торгуя египетской чечевицей, и его горячей мечтой было посмотреть столицу мира, а затем, удовлетворив все свои желания и вернувшись в Александрию, жениться на молодой египтянке, которая любила бы его. И так как на его круглом бритом лице отражалась мечта о молодой супруге, которой лишила его трудовая юность, проведенная в закупке чечевицы и отправке ее на барках во все концы света, то дочь еврея Иефунна бросала на Амона долгие взгляды и даже раз, вечером, взяла его за руку, свесившуюся из повозки, в то время как Иефуннэ, казалось, не замечавший этого, рассматривал арку египтянина, деревянный ящик, быть может, заключавший бесчисленное множество золотых солидов, нажитых пятидесятилетним путешественником.

Атилий и Мадех достигли Анксур: их взорам открылась сверкающая цепь белых скал над портом; толпа носильщиков, выгружавших глиняную посуду и металлы; множество быстроходных либурн и кораблей с рострами и без ростр, веселых или парусных; иностранцы, прибывшие с юга Италии, из Сардинии или Испании, чтоб присутствовать в Риме при въезде

Элагабала. Об этом все говорили, и звуки голосов, варварские звуки, долетали до Атиллия, принявшего важный вид, и до Мадеха, который смотрел на него, склонив смуглое надушенное амброй тело и овальное лицо с короткими выющимися волосами, миндалевидными глазами и соединенными черной чертой бровями. Мысль Атиллия, прежде инертная, работала теперь под наплывом внезапного вдохновения, вызванного оживлением на Аппиевой дороге, по которой стремился народ Римской империи. Безумный проект культа Черного Камня Элагабала, который увлек его величием своего замысла, уже рисовал перед ним очертания храмов Солнца, более высоких, чем храмы Зевса и Сераписа и стены Вавилона, и этот Черный Камень должен возвышаться непоколебимо, украшенный алмазами, изумрудами и топазами, при звуках флейт, азор, нэбэл, арф, среди плясок и пения. Ради него он, Атиллий, вступит в борьбу с богами всех концов земли, и неустанным стремлением мужского пола к мужскому он упразднит женский пол или, вернее, двуполость человечества и поможет созданию в недрах творения андрогина, самодовлеющего существа, совмещающего в себе оба пола, и установит единство жизни там, где царила двойственность.

Но, подобно нежному растению, этот проект в своей сути был чем-то глубоко интимным, поэтому тревожил обычно спокойное состояние духа Атиллия, привыкшего там, дома, пребывать в сладком оцепенении и отдаваться грезам, близким к неземным. Он выработал в себе в Эмессе философию бессознательного, которая была связана со страстной жестокостью по отношению к Мадеху; в нем он думал найти воображаемого андрогина. Глубокий эгоизм Атиллия поддерживал в нем душевное равновесие, которое теперь рисковало быть нарушенным в начинающейся по его внушению жестокой борьбе Элагабала против других верований. Он чувствовал: в самом сердце Рима могуче разрастается упорное безумие религиозных пристрастий, и сам он, пропитанный этим ядом, будет не в силах вырваться из его плена. Во что тогда обратится нить глубоких страстных дней, протекших в тишине вместе с Мадехом, которого он сделал бесполом, почти до конца истощенным, но не ведающем о своей физической слабости.

Вечер объял дорогу, и близость ночи смущала чувства запоздалых путников. Дома Анксуара, оставшиеся позади за прямыми стенами, сливались в общую массу, как куски горной смолы; порт сверкал желтыми отблесками, в которых плясали лунные лучи. Все угасало, и в общем угасании едва различались крики погонщиков ослов, стук копыт мулов, фыркание быков, выходящих из Понтинских болот, и голоса путешественников, отыскивающих убежище в небольшом городе.

Утро коснулось неба, покрытого тяжелыми тучами; их разрывали красные лучи тусклого солнца. Аппиева дорога пересекала Понтинские болота; налево – зелень дюн, направо – голубая стена Апеннин Лациума. Воды сверкали среди зарослей тростников и асфodelей, в которых топтались быки; густая трава колыбалась под внезапными порывами ветра. Восходящее солнце бросало косые отблески на волнистую поверхность каналов; над хижинами угольщиков поднимались колонны дыма; храмы из трювертинского мрамора вырезались своими розовыми линиями на фоне холмов, на их вершинах виднелись обнаженные торсы вольских пастухов; с недалекого моря доносились отрывистые звуки, сливавшиеся с криками возниц на дороге.

По мере приближения к Риму увеличивался наплыв путешественников. Лектики провинциалов; бастерны женщин; запряженные быками бесколесные траги, похожие на сани; бенны, гальские повозки с ивовым кузовом, иногда украшенные серебряными бляхами; телеги, запряженные парой, тройкой и четверкой лошадей; простые повозки, нагруженные кладью, везли людей Востока и Запада, римских граждан и нумидийских землевладельцев, семьи фигляров, евреев, чиновников, которых привлекал приезд Антонина Элагабала. Толпы невольников, взятых в каких-то неведомых войнах, шли быстро, подгоняемые палкой надсмотрщика; собаки лаяли на темнокожих мавританцев, гнавших перед собой верблюда, который стигбался под тяжестью сидящих на нем женщин и детей.

Прошел день, и они уже ехали вдоль берегов озер Неми и Альбы, осененных тенью каштанов, выросших на земле, образовавшейся из пепла и пуццолан. Наконец, впервые серые очертания Рима обрисовались на горизонте! Дорога потянулась среди гробниц гордой архитектуры, источенных солнцем и белых на синем фоне окрестностей, среди гробниц, на которых были имена Септимия Севера, Геты, Галлена, Сенеки и Цецилии Метеллы. Вилла Коммода, скончавшегося менее чем четверть века тому назад, привлекла к себе Амона, которому захотелось обойти ее вокруг; а за ним пошла и Иефунна, тревожно следившая за каждым движением его диплойса. Но Никодему вздумалось позабавиться, и он крикнул Амону из глубины своей бастерны, откуда виднелся только клочок его черной, как уголь, бороны:

– Не ходи туда, не ходи! Тень Коммода преследует египтян, которых он не любил при жизни.

Амон, одновременно болтливый, наивный и трусливый, немедленно вернулся. Иефунна тотчас же пошла опять за отцом, глаза которого на миг блеснули при взгляде на сундук, оставленный в повозке александрийца.

Вдали пенился Тибр, то скрываясь, то вновь появляясь в дрожащем сиянии. Сливаясь, синели горы, и резко выделялись дороги, фермы и виллы, мосты, группы сосен и кипарисов.

Одно и то же восклицание вырывалось из всех грудей, взволнованных близостью столицы: – Рим!

Белое видение все росло и росло в дымчатом тумане. И это, действительно, был громадный, дивный Город!

Тогда поднялись крики. В особенности волновались иностранцы, заветной мечтой которых было увидеть Рим. Они вставали в своих повозках, приподымались в седле, взбегали на возвышения, чтобы лучше видеть город, крыши, дома, арки, портики, колонны, цирки, горреи, нимфеи которого сверкали розовыми и желтыми отблесками. Африканские фиגляры поочередно брали друг друга на плечи, и даже маленький мавританский караван со своим верблюдом не отставал от других. Слышались переливы инструментов. Каждую, вновь увиденную часть Рима приветствовали на всех языках, и все сердца бились при виде города, который скоро поглотит эту толпу, пришедшую со всех концов мира. Атиллий и Мадех не говорили, не улыбались. Атиллию сквозь Рим виделся Эмесс. Мадех же под влиянием внезапного беспричинного и острого предчувствия положил руку на свой черный амулет, как бы боясь, что его отнимут.

IV

В предместье, на правой стороне Тибра, дома с изрытыми стенами, покрытыми желтой известью или стучом, некоторые в несколько этажей, загромождали узкие улицы, темные, как улицы восточных городов. Сырые углы площадей, в которые изредка золотой лентой проникал солнечный луч, скользнувший с крыши, закоулки, украшенные нишами в гирляндах, где хранили неподвижные изваяния богинь и богов. Повсюду теснились низкие лавки с выставленными товарами; в мясных на железных жердях висели части туш и огромные бычьи сердца; в булочных рядами красовались круглые и выпуклые хлеба. Чуть дальше расположились мастерские по производству сандалий, кожаных и деревянных ботинок, по изготовлению светильников из давленной меди и лаковой глиняной посуды, блестевшей в полумраке. На окнах с деревянными решетками развешивались куски материй, а на веревках, по стенам, висело множество звенящих вещей.

На пустынном участке земли, на берегу Тибра, стоял небольшой домик с отверстием в крыше, откуда клубился черный дым; а перед домом, в узком садике, весело цвели гелиотропы и розы. В глубине его было устроено подобие сарая, заваленного кусками глины, квадратными кирпичами, вазами этрусского стиля, расписанными лампами, сапогами, сушившимися на полках. В углу, у двери, зияло круглое жерло потухающей печи.

Краснолицый мужчина с волосами в мелких завитках, в разорванном шерстяном плаще, с обнаженными до плеч руками и голой грудью вертел гончарный круг. На узкой горизонтальной доске глина размягчалась и превращалась в продолговатые вазы, стройные, как распустившиеся лилии, или в круглые блюда, или овальные амфоры с остроконечным основанием. Другой человек, худой и темноволосый, сидя на скамейке из пальмовой плетенки, расписывал вазы кистью, окуная ее в горшки с краской. Он украшал их черными и красными геометрическими фигурами, изображениями богов и изгибающихся борцов, группами колесниц, несущихся в лазоревом пространстве.

Несколько поодаль третий гончар прикреплял ручки к вазам и резал большие куски глины, которые бросал вращавшему кругу.

Этот работник насвистывал какую-то грустную мелодию, сопровождая ею скрип гончарного круга и глядя только на глину, размягчавшуюся и оживавшую в его руках.

Ничто не останавливало работы гончаров, окутанных летучей солнечной пылью, а сквозь нее, на желтом фоне густых ветвистых лесов, виднелись, как в мираже, гелиотропы и розы, большие цветы и листья, склонившиеся к земле, как складки одежды. Через плетень из сухих тростников, отделявших мастерскую от дома, смотрел, опираясь на большую кривую палку, старик, едва прикрытый стянутым в талии холстяным плащом, в шляпе из рыжей шерсти на седых и очень длинных волосах, сходящихся с бородой. Он был худ и высок, с красными кругами вокруг глаз, с тонкими губами, с желтой, покрытой рубцами кожей, на которой выступали узловатые жилы. Ноги его были босы.

Он стоял, молча, и ждал.

Краснолицый гончар поднял голову.

– Магло! – воскликнул он. – Это ведь Магло, которого мы все ожидаем?

И он быстро оставил гончарный круг, который издал резкий свист. Двое других прекратили работу.

Гончар отворил старику дверь, тот вошел, протянул к ним руку и пробормотал несколько слов. Они опустились на колени, затем встали, а Магло, озабоченный и усталый, сел на скамью.

– Отец, ты ел? – спросил гончар, глядя на него со вниманием и заботливостью сына.

Магло ответил:

– Да! Да! Я ел, я сыт!

Все трое проявляли к нему умильную почтительность и не перебивали его. Опершись подбородком на палку, старец пристально смотрел на землю:

– Пройти Галлию и Италию, переплыть реки, пройти горы, не жалея свою старость, страдать от голода, холода, жары, побоев, обид и насмешек – и все это для того, чтоб увидеть Рим и впасть в его мерзость. Это тяжело, тяжело!

Он выпрямился во весь рост и угловатым жестом протянул палку, указывая ею на Рим.

– Предсказываю, предсказываю! Если никто не уничтожит эту блудницу, которая отдается сынам Востока, то все погибнет. Гниль ее распространится по земле – и горе, горе всем!

Двое содрогнулись. Но Геэль, тихо сжимая руку старца, заставил его сесть и быстро сказал:

– Да, мы уничтожим ее, отец! Число наших братьев все растет. Но нам нужно время, чтоб разжечь огонь, который поглотит ее совершенно!

Он спокойно смеялся и другие вторили ему хором, как бы желая успокоить пришельца, который продолжал:

– Что это за часть города, где блудницы зазывают прохожих? Я видел, как мужчина обнажил женщину. Я видел, как юноши ласкали развратников и осквернялись с ними. Я видел старух, деливших ложе с малолетними. Это конец всех концов, этого достаточно, чтоб солнце закрыло свой лик.

– Ты прошел по Субурской улице? – робко спросил гончар.

– Эта улица – путь гибели, – быстро сказал Магло. – Подожгите эту грудку гнилья, которая заразит народы!

– Просвещение светом истины идет вперед, отец! – уверял Геэль, после некоторого молчания, надеясь внести мир в душу старца, гнев которого смущал его.

– Нас немало в Риме, чающих пришествия Агнца, и мы многого ждем от новой власти, возникшей на Востоке; она подготовит сердца для Крейстоса.

– Восток, Восток! – воскликнул Магло. – Разве это не Вавилон?

– А Вавилон это – Рим, – ответил Геэль, снова улыбаясь. – У нас есть бедняки и блудницы в несчастии.

Старец быстро встал:

– Мне говорили, мне говорили! – застонал он. – Вы, живущие в Риме, вы не гнушаетесь гнилых плодов, от которых сами сгниете.

– Мы собираем семена везде, где их находим, – сказал Геэль. – Взгляни на моих работников: Ликсио, фригиец, приговоренный к распятию на кресте за убийство своего господина; Ганг, кампаниец, которого прокуратор разыскивает за кражу, – оба они скрылись от чиновников, и я приютил их. Им нечего здесь бояться: это братья.

Магло внимательно посмотрел на Ликсио и Ганга. Геэль смиренно, но уверенно продолжал:

– И я сам, уроженец Сирии, разве я не был за Евфратом, в разлуке с братом моим Мадехом, быть может, умершим, быть может, рабом, кто знает?... И разве не нахожусь я под угрозой закона империи за поджог города?

– Увы, увy!.. – произнес Магло и замолк.

К нему возвращались чистые грезy, которые наполняли его душу светом в его пещере в Альпах перед снежной картиной гор, перед синими горизонтами, холодными водами, струящимися в лощинах, где краснеют морщинистые лесные яблоки и черника прикрывает гнезда юрких ящериц. Старость застала его девственным.

И перед его глазами стоял образ властной Майи, запечатлевшийся в его мозгу и унаследованный от его предков, скандинавских гильветов. А еще виделось ему бледное лицо Богочеловека, попирающего пятою семь голов греха: сладострастие, блуд, изнасилование, скотоложство, содомию, прелюбодеяние и растление. Молва о его святости дошла по Роне до Лиона,

проникла за море и постучалась в двери Рима, куда призывали его поклонники Крейстоса. И направленный к Геэлю одним из далеких учеников, он пришел, чтобы при жизни увидеть Рим, и для того, чтобы еще сильнее укрепилась в нем вера. И какое разочарование постигло его!

– Ты останешься здесь, – сказал Геэль, радостно улыбаясь. – Я прикажу приготовить тебе ложе, потому что ты у своих.

В эту минуту решетчатая дверь отворилась. Магло вскрикнул:

– Она! Это погибель! Та, что я видел сегодня утром.

Неприступный и суровый, он хотел удалиться, но маленькая ласковая ручка завладела его рукой, и к ней прильнули чьи-то губы.

– Да, я знаю, ты прошел мимо моей двери, и я тебя позвала. Но не все ли равно! Геэль сказал мне, что я прощена.

Магло смутился, слегка смягчившись; он машинально начертал крестное знамение над головой молодой женщины, которая бросилась к нему. Низкая митра была надета на ее голове; волосы приглажены на висках, брови соединены черной чертой; в ушах тускло блестели бронзовые кольца; груди колебались под светло-желтой полотняной субукулой, высоко подпоясанной; сандалии завязаны на обнаженных икрах; на щеках – слой меловых белил. Серебряная пряжка с головой Медузы скрепляла на ее плече паллу, незастегнутую под мышкой.

– Довольно, довольно, Кордула, – строго крикнул Геэль, приметив замешательство Магло.

Кордула поднялась в смущении, но все же поднесла к носу Геэля четырехугольную душистую ладанку.

– Понюхай! Мне подарил ее один человек. Это как будто мирра и вервена.

И она убежала, точно промелькнуло золотистое видение в тонком аромате вервены и лупанара. Геэль сильно покраснел и пробормотал:

– Разве можно сдержать этих женщин? С ними надо быть добрым и снисходительным, потому что они нас любят, а Крейстос не был врагом любви.

– И ты любишь их, любишь их тело? – спросил Магло, сдерживая себя.

Послышался шум смешанных голосов. И в гончарную мастерскую вошли человек двенадцать мужчин и женщин, которые поздоровались за руку и торжественно поцеловали друг друга в щеку. Они пришли ради Магло, зная, что в этот день он должен прибыть к Геэлю. У него они часто собирались; это были христиане, объединенные одним и тем же видом причастия в общее трогательное братство; лишь изредка в него только вносили разногласие различные споры о догматах.

Ликсию и Ганг прекратили работу. Геэль усадил сектантов на низких плетенках из ивы с берега Тибра, посреди кусков глины и ваз, на которые луч солнца падал золотой пылью. Когда, поцеловав сухие пергаментные щеки Магло, пришедшие упростили его говорить, то он медленно, но звучным голосом, стал рассказывать им про христианские церкви в Галлии, которые он посетил, покинув Гельвецию. Хотя проповедь веры была там на тернистом пути, благодаря некоторым народностям, враждебным Агнцу, зато Рим смутил его своими лупанарами, открытыми для всех, беспутством его обитателей, которое смрадными потоками и душевным мраком покрывало оскверненный мир! И он заплакал, ударяя палкой оземь; затем, откинув назад широкие поля своей шляпы, встал, грозя протянутой рукой и выставив вперед большие голые ноги. В его грозных словах Рим являлся в виде злого зверя, несущего на хребте своем все грехи, и ему хотелось бы жестоко преследовать его, убить его своей палкой и зарыть в ту грязь, в которой он привычно пресмыкался. Но тут прервал его один из христиан, молодой человек гордой внешности, с открытой шеей, коротко остриженной головой, с продолговатым, тонким и умным лицом; черные глаза придавали этому тридцатилетнему человеку обаяние, отражая красоту души, горящей необычайным оживлением. Короткая остроконечная борода дополняла его апостольский облик, полный человеколюбия. Он был одет в простую тунику из

грубой шерсти, заботливо заплатанную, и в деревянные сандалии на босу ногу. Звали его Заль. Он заговорил:

– Агнец не хочет, чтобы средоточие мира и престол его грядущей славы терпели поношение от нашего брата из Гельвеции. Из той гнили Рима вырастет божественный цветок Крейстоса!

Прочие взглянули на Магло, ошеломленного на миг, он возразил:

– Рим, Рим, это гниль!

Он повторил это глухо, как бы перед видением лупанаров Субуры и все еще изумленный внезапным вмешательством Залья; а тот уверенно продолжал защищать Рим, уже не смущаясь святостью Магло и чувствуя, что в нем слабеет его прежняя вера в одинокую чистоту Крейстоса. Тогда чей-то голос сказал:

– Величие Крейстоса царит над всем и может возникнуть из всего!

Христиане склонились перед той, кто произнес эти слова. То была женщина двадцати пяти лет, выразительная и пылкая в каждом движении, с величественной внешностью патрицианки, отрекшейся от мира; без драгоценностей, без румян и белил, одетая строго в белую столу с прямыми складками; палла закрывала ее трепещущие плечи, на которые падали подвижные пряди черных волос, вырвавшиеся из-под повязок на слегка наклоненной голове. Другой христианин выступил вперед:

– Наша сестра Севера права. Но это величие бестелесно, оно есть чистый дух, как и тот, от кого оно исходит!

Говоривший эти слова, был высок, худ и уже зрелого возраста – сорока лет. На нем была черная туника, волосы были плохо острижены, и его бритое лицо изобличало человека, которого терзают тайные страсти. Он обладал резким голосом, что давало ему возможность быть убедительным в определенных христианских кругах – он выступал в манере догматика, закрывая глаза, высоко держа подбородок над прямым воротом и презрительно относясь к тому, что о нем говорят и думают другие вероучители. Хотя они и считали его знатоком апологетики и человеком с широким кругозором, все же не стеснялись иногда обнаружить в нем какой-нибудь порок, недостойный христианина, вследствие чего Атта – так его звали – был вне схода и интимных собраний верующих каким-то жалким, нуждающимся паразитом, лстивым перед сильными и готовым продать веру за несколько золотых или даже за несколько кусков хлеба и сардин. Но он оберегал себя от подобных обвинений, еще не предъявлявшихся ему в грубой форме и, чтобы лучше защититься, держал себя, как приверженец официальной церкви христиан-политиков, богатых и ловких, поддерживавших под наблюдением римского епископа Калликста, – а до него, Зефирина, – только отдаленную связь с более скромными, смиренными, тихими и братствующими общинами церквей, к которым принадлежали те, кто был у Геэля, и сам Геэль.

Эти церкви колебались между различными толкованиями учения, настолько свободными и уступчивыми, что они приближали их к некоторым обрядам политеизма или, по крайней мере, к некоторым политеистическим идеям для объяснения Божественной силы, олицетворенной для них в образе Крейстоса. Многие объединялись по национальностям, и это отличало их от политических общин, с более резко выраженным интернациональным характером. За исключением Северы, римской супруги одного патриция, давно уже удалившегося от дел империи и императоров, которую влекла к Залю, – как остроумно выражались, – любовь к Крейстосу; за исключением Атты, путем борьбы водворившегося среди них, быть может, во властолюбивых целях, все те, кого соединило у Геэля присутствие Магло, были детьми Востока: Персии, Фригии, Понта и Халдеи, и потому они чувствовали еще несознаваемое ими самими, но ошутимое сродство с новой империей, молодой и обаятельный повелитель которой должен был завтра вступить в Рим. Об этом-то они и заговорили. Заль предпочитал Элагабала с его извращениями и Черным Камнем, тень которого уже поднималась над римским горизонтом,

и с его жрецами, – всем императорам-политеистам, которые к его великому сожалению не достаточно споро разрушали мир. Господство Крейстоса родится из гнили Элагабала, а не из здоровой и сильной жизни других богов! Он говорил это горячо и смело под пристальным взглядом Северы; Магло качал головой, сидя и держа посох между ногами, а Атта переводил тревожный взгляд с Геэля на других христиан и иногда строго смотрел на Заль, озаренного теперь лучами солнца.

Магло пришел слишком издалека, чтобы сразу освоиться с теориями Заль, и потому перевел спор на естество Сына человеческого, так как идея эта была ему очень дорога. Возникли разногласия. Одни доказывали, что Крейстос, как человек, был существом бестелесным; другие утверждали, что он был чистым Духом; Геэль скромно заметил, что Крейстос и Отец его составляют неизменяемое соединение всех богов. Но Магло заткнул уши и встал, еще господствуя над бедными туниками христиан, обратившихся к нему:

– Богохульство! Агнец, в отдельности от Отца, равен ему по силе. Я, Магло, его видел, с его семью кровавыми ранами: Отца, властителя грома и всех благ, справа от него, а Духа – слева.

Атта ответил ему высокомерно и властно, казалось, презирая незначительных слушателей:

– Все должно объединиться в Божественном единстве Крейстоса. Опасна идея троичности, прославляемая Магло.

И так как Магло, задетый в своей святости, смотрел плаксиво, то Атта заявил, что вопросы о догматах должны быть предоставлены иереям объединенных церквей. Но Заль восстал против того, чтобы руководство душами было отдано во власть людям, вера которых не всегда несомненна:

– Дух проявляет себя, где может. Человек подвластен греху; мы не можем отдать эти споры на произвол их страстей.

Он отвергал всякую власть, явно имея в виду Атту, который в ответ презрительно и лицемерно пустил в него отравленную стрелу:

– Берегись, Заль, чтоб этот дух не был демоном!

Заль вскочил и погрозил ему кулаком:

– Демон в тебе, в тебе, нечистом, который скрывает свою низость под ложной святостью.

И, казалось, он готов был его ударить и, возмущенный, бормотал про себя то, что уже давно рассказывали про Атту, про его паразитство, его тайные пороки и подозрительное общение с язычниками. Но все шумно встали, их разъединили. Атта был бледен:

– Я заставлю низвергнуть тебя из клана верующих!

– Я открою всем твое лицемерие!

Разъяренный Атта направился к дверям и в тот момент, когда к Залью приблизилась взволнованная Севера, бросил ему в лицо:

– Горе, горе, горе тебе!

Все содрогнулись после этой сцены, которая так резко положила конец спору, начатому Магло. Заль ничего не говорил более. Магло проводил худыми руками по своей волнистой бороде и беспокойно смотрел на верующих. Но те, а вместе с прочими Заль и Севера, разом ушли. Остались только Геэль, его работники и Магло, – и все молчали.

V

В Транстиберинском предместье стоял сильный шум, ревела толпа, люди бежали к Сублицийскому свайному мосту. Дети, копавшиеся в мусоре, пугались; в отверстиях окон стланивались любопытные головы, а низкие таверны, с одним навесом, поспешно закрывались из боязни. Толпа выкрикивала различные имена Элагабала: называли его Антонином, так как мать его, Сэмиас, уверяла, что он родился от Антонина, а также Бассианом, Варием, Авитом и Сирийцем.

Геэль пробивался сквозь группы теснившихся граждан и рабов; над их головами, на дощечках или на прямых жердях, были выставлены статуэтки, железные изделия и большие куски соленой свинины; по временам продавцы, ропща и уворачиваясь, спасались от ударов мечей в руках солдат, покрытых железом и медью. Пришельцы с Востока, длинные полосатые одежды которых выделялись подвижными пятнами среди грязно-белых римских тог, били в барабаны, обтянутые кожей, и дули в прямые трубы из блестящей меди; проститутки громко бранились между собой, и матроны догоняли своих полуголых детей, прыгавших повсюду.

На Священной улице, куда выбрался Геэль, промелькнула мимо него лектика, в которой четверо рабов несли двух мужчин, лежавших на пурпурных подушках; один из них был бледный, с короткой каштановой бородой, другой – моложе, большой ребенок, только что вышедший из отроческого возраста, с золотистой кожей, быстрым взглядом и выющимися волосами. Геэль смотрел на него в щель между плагулами – шелковыми занавесями – и воспоминание о брате, с родины, навсегда утраченном, вставало перед его глазами, и чем дольше он смотрел, тем сильнее крепло это воспоминание. Да! Это действительно Мадех, тот самый, о ком он говорил Магло. И, потрясенный, восторженный, он воскликнул:

– Мадех? Это я! Я!

Он бежал за носилками, чтобы привлечь внимание вольноотпущенника, лежавшего рядом с Атиллим. Но Мадех не слышал его в окружающем шуме; Атиллий же мечтал...

Тогда Геэль вдруг раскрыл всю занавесь; лектика остановилась по знаку Мадеха, который увидел Геэля. Узнать его и после краткого колебания сойти и поцеловать – было делом мгновения.

– Да, да, это я! Я приехал оттуда, знаешь, добрый мой Геэль!

И он все еще обнимал его со слезами на глазах, а Геэль восхищался им, ощупывал его шею, руки, волосы, вдыхая аромат далекой страны. И так как Атиллий смотрел на них безучастным, почти мутным взглядом, то Мадех сказал ему:

– Это мой брат с родины, о котором я часто тебе говорил; он спас меня, когда римские легионеры убивали моих соплеменников. Если б не он, я был бы мертв, может быть, или далек от тебя!

Он говорил это поспешно, счастливый тем, что Геэль разделял его радость, видя его в дорогой одежде, с митрой на голове, которая чудесно шла ему, и что Атиллий увидел его брата из Сирии. И Атиллий милостиво сказал из глубины лектики:

– Беги с нами и будь вместе с нами!

Мадех лег снова, и носилки двинулись вперед между Виминалом и Эсквилином, на которых возвышались дворцы и дома, красиво окрашенные в шафранный цвет. Носилки свернули в сторону: перед ними открылся Каринский квартал с храмами, многочисленными портиками, термами и садами с изящной растительностью. И толпы народа постоянно двигались с соседних высот, появлялись из-за высоких домов с выступающими вперед деревянными окнами; народ стремился влево, к Священной улице, как бы выливаясь из сверкающих щелей, в ярком полуденном солнце, пестря одеждами среди развевающихся занавесей и тканей, которыми люди махали с высоты колесниц, украшенных слоновой костью и серебром.

И все время слышались обаятельные имена Элагабала, как будто от этого молодой император должен появиться скорее, внемля долгим радостным кликам.

– Завтра божественный Антонин вступает в город, – сказал Мадех громко, чтоб Геэль мог его расслышать в шуме. – Народ хочет приветствовать его при приближении к Риму.

Лектика свернула в узкую улицу, стиснутую молчаливыми домами с железными затворами у дверей, и остановилась перед домом, окаймленным пилястрами; дверь отворилась, и в ней показалось розовощекое лицо янителя, привратника. За дверью виднелись сени, а в глубине дома, за вестибюлем – желтая площадка, прямой ряд колонн из красного травертина, анфилада уходящих вдаль зал, пронизанных солнечным лучом, подобным широкой серебряной ленте.

Атиллий и Мадех вышли из лектики. Мадех обнял Геэля, который колебался.

– Он разрешает тебе войти, – сказал Мадех, – он любит Восток и наш народ.

И он увлек его вслед за Атиллием, в то время как со всех сторон сбегались невольники.

В атрии, украшенном мозаикой и бледными фресками, доходившими до карниза колонн, раздался хриплый крик. Серая обезьяна, прикованная к жертвеннику у края бассейна, смотрела своими почти человеческими глазами на Атиллия, а какая-то тень колебалась на стене, расписанной пестрыми стаями птиц, порхающих среди голубых и розовых облаков. Геэль, не знавший, что сказать, и шедший с осторожностью, увидел павлина, распутившего свой хвост, пышного и величавого в спокойной гармонии радужных переливов. Птица, подняв одну ногу и с загадочным видом устремив взгляд на кусок голубого неба, отражавшийся в комплювии через отверстие в крыше, оставалась неподвижной.

– Ты тоже шел навстречу Антонину? – спросил Мадех Геэля, в то время как Атиллий направлялся к перистиллю в глубине узкого убранного тканями коридора, где его белая туника с двухцветными полосами выделялась светлым движущимся пятном.

– Да, брат Мадех, – ответил Геэль. – Говорят, что, отвергая всех римских богов и признавая только одного бога, с Востока, он будет благосклонен и к нам.

– К нам? – спросил, недоумевая, Мадех.

Он взял Геэля за руку и усадил рядом на бронзовом сиденье – биселлии. Павлин все шире распускал свой хвост, а обезьяна спокойно пила из позолоченного солнцем бассейна неопределенной глубины, в котором тихо колебалась вода.

Сделав быстрое движение, Мадех открыл черный конус амулета, висевший на тонком шнурке на его шее, и, когда Геэль раскрыл рот от удивления, поспешно сказал:

– Да, да, я жрец Солнца, посвященный Атиллием богу света и жизни, богу Элагабала, соединяющему в себе всех богов.

– А!.. – промолвил Геэль.

Он сидел задумчиво, охваченный суеверным страхом перед этим жреческим званием, и исподлобья взглядывал на Мадеха, чьи волосы приятно благоухали, чье гибкое, отполированное пемзой тело было умащено после бани маслом, перемешанным с разными благовонными эссенциями.

Он имел нежный и счастливый вид эфеба, который от ничтожной причины может лишиться чувств. Его кольца сверкали; застежка длинной туники искрилась; его сандалии, окаймленные серебром, были украшены над ступней горящими драгоценными камнями в узорчатой оправе, в которой слоновая кость, бирюза и золото переплетались в виде извивающихся растений. И, главное, движения его были изнежены, а гибкая спина чутко вздрагивала, как у блудницы, холеное тело которой реагирует на малейшее прикосновение. Геэль понял, и его взгляд встретился с взглядом Мадеха.

Они заговорили, пробуждая в памяти годы, проведенные на берегах Евфрата, куда их увлекли толпы восставших, в местности, полной на необозримом пространстве развалин, испещренных клинообразными надписями. Их удивляло, что они так быстро и как бы инстинк-

тивно узнали друг друга после той долгой разлуки, в течение которой оба выросли и изменились до неузнаваемости. Расставшись детьми, они встретились теперь взрослыми.

– Понял ли ты, почему мгновенно наши души откликнулись и наши лица узнали друг друга?

– Что увековечило нашу дружбу и запечатлело ее в сердцах, несмотря на протекшие годы?

Они продолжали разговаривать; Геэль приблизился к Мадеху, который чувствовал как бы легкую нервную дрожь. И грубая внешность гончара, его жирные от глины руки, его густые выющиеся волосы и жесткая кожа в веснушках не были ему неприятны. Внезапно Мадех сказал:

– Ты поклоняешься Крейстосу, я это понял. Элагабал чтит его, и Атиллий, советник Элагабала, видит в нем проявление жизненного начала.

– Значит, мы будем под покровительством империи, – сказал Геэль, который не все понял из слов Мадеха. – Один из наших, по имени Заль, пришедший также с Востока, полагает даже, что Черный Камень направит мир к поклонению Крейстосу.

Раздался плеск воды в бассейне, и оттуда высунулась пасть, желтый зоб, неподвижные глаза, плоский череп с зеленоватыми чешуями. И эта голова неподвижно уставилась на обезьяну, которая делала ей гримасы; хвост павлина сверкал каскадом самоцветных камней в фиолетовых, синеватых и рубиновых переливах. Затем послышался звук шагов, и раздвинулся занавес, затканый желтыми узорами, с греческими углами. Появился Атиллий, сверкая золотыми бляхами халькохитона, в шлеме с пышным султаном и доспехах, облежавших икры; синяя хламида была прикреплена к панцирю фибулой с большим сардониксом. При виде Мадеха и Геэля он улыбнулся, и эта бледная улыбка, скользнувшая по окаймленному короткой бородой лицу, печальному и строгому, с нежными голубоватыми тенями, была так необычна, что Мадех в смущении встал, закрывая собой испуганного Геэля.

– Мы беседовали о земле, которая видела наше рождение, и я неустанно слушал Геэля, который поклоняется Крейстосу.

– А! Ты поклоняешься Крейстосу, – сказал Атиллий, пристально взглядывая на гончара. – Империя, желающая объединения богов в Черном Камне, будет благосклонна к тебе и к твоим друзьям, хотя ваш Бог не есть полное олицетворение единой жизни. Но если вы уповаете на Элагабала, то он примет вас под свою защиту.

И он повернулся к нему спиной, сделав знак, что тому следует удалиться, и бросил странный взгляд Мадеху, который проводил Геэля до выхода, откуда несколько ступеней вели на пустынную улицу, залитую солнцем.

– Приходи сюда ко мне, – шепнул ему Мадех, – я буду жить здесь постоянно, если только Атиллий, примицерий преторианцев, не увезет меня во Дворец цезарей, где будет обитать божественный Элагабал.

– Божественна только личность Крейстоса, – ответил Геэль, обнимая Мадеха и покидая его с печалью.

VI

Колесница тронулась и унесла Атиллия и Мадеха. Лошади побежали рысью, замелькали колеса с двенадцатью плоскими спицами и взволновалась маленькая, глухая улица Каринского квартала. Граждане отступали перед звонкой колесницей с высоким квадратным сиденьем, украшенным бронзой, слоновой костью и резьбой из золота и серебра. Аурига, бегущий рядом, быстро правил четырьмя белыми конями.

Вокруг римлянина и сирийца, в облаках пыли, слышались проклятия, сверкали гневные взгляды старых политеистов-западников, возмущенных вторжением нового культа, который приближался вместе с шествием Элагабала. Какой-то плебей показал кулак Мадеху, митра которого изобличала его национальность; другие смеялись, указывая на Атиллия в золотом панцире, усеянном эмалевыми украшениями. Очевидно, римскому населению уже были противны нравы Востока. Становилось ясно, что оно не примет ни Черного Камня, ни его поклонников, ни жрецов и чудотворцев, ни его императора; и что когда-нибудь оно прогонит варваров, грубый ум которых стремится обезличить богатую, живую и трогательную мифологию западного мира ради нового божества, слишком простого по форме и годного только для низших умов, ради божества с противоестественным значением, стремящегося поглотить других богов, так дивно очеловеченных.

Исполнив свою миссию в сенате, Атиллий принял звание главного начальника преторианской гвардии и отправился для принятия нового поста в лагерь Элагабала, то есть, в лагерь преторианцев, на высотах города.

Под яркими лучами солнца шли когорты, во главе их музыканты играли на длинных бронзовых трубах и медных рогах. Под гром восторженных приветствий промчался отряд конницы с развернутыми знаменами. Это было на Квиринальском холме, правая сторона которого была невзрачной, зато левая была богата храмами, садами и дворцами; отсюда сквозь клубы дыма, поднимавшегося, подобно громадным столбам, к темно-синему безоблачному небу, виднелись предместья Рима, серые и голубые. Его улицы, то широкие, то узкие, пестрели, словно шахматные фигуры, пешеходами и колесницами. По сторонам высились здания: белые и многоцветные гробницы; виллы, обнесенные стенами садов, в которых радостно благоухали цветы, – розовые, фиолетовые, красные и голубые; акведуки, идущие над крышами домов; многочисленные террасы, на которых виднелись силуэты римлян и римлянок в тогах, хламидах, туниках, циклах, синтесисах, – полная гамма цветов и оттенков.

Колесница спустилась с Эсквилинского холма и под крики тяжело дышащего и обливающегося потом возницы вклинилась в еще более сгустившуюся толпу, которая бросала в лицо неподвижным Атиллию и Мадеху свой гнев, негодование и проклятия. Наконец, в глубине долины обрисовался лагерь преторианцев, который был лагерем Элагабала; оттуда поднимался легкий дым и доносились повторяющиеся звуки музыки, а со всех сторон текли смешанные толпы граждан, рабов и вольноотпущенников великого города, покоренного Востоком.

Тут были стремившиеся навстречу Антонину чиновники и спешившие признать новую власть сенаторы в черных сандалиях, ремни которых доходили до середины ноги и заканчивались золотой или серебряной пряжкой; и всадники, с нашитой на середине туники пурпурной полосой, более узкой, чем у сенаторов; и трибуны с мечами, восседавшие в колесницах на складных сидениях, украшенных слоновой костью; и граждане, в сопровождении рабов, в пышных венках из роз; затем продавцы оладий, жареной рыбы и горячих напитков; гадалы, фокусники, плотающие мечи, либийские заклинатели змей, намотанных на их лоснящиеся руки; гладиаторы, окруженные любопытными; солдаты, догонявшие свою когорту со звоном копий и железных касок. И вся эта толпа устремилась вперед, спинами к городу, стараясь разглядеть лагерь вдаль, определенный и симметричный с палатками, знаменами и высокой

стеной из дерна, со своими улицами, конями, баллистами и катапультами на черных подмостках. А в верхней части лагеря возвышалась обширная палатка, вся из пурпура, увенчанная развевающимися знаменами: палатка юного императора.

На расстоянии эта картина была грандиозной, неохватной для взгляда: лошади в ярких пополах, привязанные к вбитым в землю кольям; декурионы, наблюдающие за покрытием палаток кожами; солдаты, острящие о камень дротики или примеряющие железную кольчугу. В проходах двигались патрули, сверкая круглыми или прямоугольными щитами, а вокруг рвов с ржаньем и шумом скакали отряды конницы. Голоса и споры тонули в неистовых звуках труб, пение которых ясно доносилось.

Атиллий и Мадех уже подъехали к воротам, откуда широко открывался вид на лагерь, как вдруг там раздался шум и возникла крупная ссора, по-видимому, окончившаяся ударами копий: они увидели трех человек, отбивавшихся от натиска солдат. Это неожиданное происшествие вызвало у Атиллия слегка благосклонную улыбку, подаренную Амону и несколько насмешливую по отношению к Аристесу и Никодему; все трое вопили, широко раскрыв плачущие глаза, с неподдельным ужасом на лицах. Вырвавшись из рук солдат, александриец и оба грека бросились к Атиллию. Никodem торопливо стал умолять его о заступничестве и в заплетающейся речи объяснил, что он и его прекрасный товарищ Аристес и богатый торговец чечевицей Амон, очень благоразумный александриец, отнюдь не злоумышляли против императора! Нет! И если Амон спустился в ров лагеря, то только затем... затем, чтобы...

Он не договорил, но Амон, распростертый на земле, продолжил объяснения: он хотел только прислушаться к течению рукава Тибра, отведенного в ров лагеря, как убеждали его в этом Аристес и Никodem. Воды этого рукава увлекали с собой даже крокодилов, пойманных когда-то в Ниле, их держали таким образом в Тибре, но оттуда они вскоре исчезали. Круглая физиономия Амона, когда он это говорил, его жалобный взгляд напоминали невинный лик младенца, – и Атиллий распорядился отпустить всех троих.

Плотно стянув на себе широкие одежды, с явным желанием уйти поскорее, они исчезли, не забыв, однако, горячо поблагодарить Атиллия, который на миг улыбнулся доверчивости Амона и злым шуткам Аристеса и Никодема.

В лагере Атиллию и Мадеху прежде всего встретились гастарии, которые собирали в связки свои высокие копыя; затем их приветствовали суровые принципы, в панцирях, покрытых железными бляхами или сплетавшимися кольцами. Отряды конницы производили свои упражнения, мунифии охраняли палатки со знаменем когорты или манипулы у входа. Наконец, вооруженные дротиками триарии, старые солдаты с огрубевшей кожей, выстроились в ряд по данному сигналу, а на окраине лагеря собрались легко одетые велиты, молодые и горячие, и следовавшие за Элагабалом с Крита и из Ахайи прашники и стрелки из лука. В лагере царило чрезвычайное оживление. Декурии пехотинцев и всадников шли ритмическим маршем, солдаты и их начальники наполняли форум, и среди них выделялся квестор в красной хламиде. Опустившись на одно колено и приподняв локоть, ауксилиарии играли на медных сигнальных рожках, в виде железных раковин или согнутых рогов. Катафрактарии, одетые с головы до ног в узкую кольчугу из бронзы, золота или позолоченного серебра, сидели на грузных конях, которые, благодаря их снаряжению и броне над ноздрями, имели какое-то сходство с гигантскими крокодилами; арабские стрелки снимали путы со своих стройных и нервных лошадей. Либийцы били верблюдов, которые качали своими костлявыми, загадочными головами. Рабы играли в кости в тени деревьев бузины и качелей. Рабов было множество, почти все азиаты, их одежды без пояса с широкими и длинными рукавами развевались, обнажая гибкие торсы; за ними подолгу следили латники в окаймленных медью панцирях. Вблизи императорской палатки лагерь отличался и чрезмерной роскошью, и беспорядком. Одни женщины, украшенные обернутыми вокруг тела, от шеи до бедер, золотыми цепями, сидя перед палатками начальников, играли на цистрах, подняв голые руки и открыв очищенные от волос подмышки.

Другие торжественно шли, играя на псалтерионе, иные же кружились в танце в узких промежутках между красными и желтыми бараками, перед которыми блестели сложенные в связки дротики и железные топоры. И под развевающимися светлыми тканями и прозрачными циклами мелькали матовые белые тела; сверкали запястья, звенели спафалии и повязки на руках и тонких ногах танцовщиц, неслись тягучие звуки тамбурахов с крепко натянутыми струнами, и кикут, и флейт Пана, на которых играли горячие губы, хранившие еще вкус мужских поцелуев. Многие из женщин, сидя на земле в синеватой тени палаток, расчесывали свои длинные волосы, украшенные подвесками из маленьких серебряных монет. Они молчаливо улыбнулись при виде примицерия, быстро проехавшего в сверкающей колеснице вместе с Мадехом. Последний обменялся короткими жестами приветствия с несколькими сирийцами, жрецами Солнца, с такими же, как у него, высокими митрами на голове.

VII

И вот они перед шатром Элагабала, возвышающимся над другими окружающими его палатками. Весь шатер был из шитого золотом пурпура, с желтыми каймами, со звездами из жемчугов и камней, с развевающимися алыми знаменами, высоко уходящими в синеву неба. Преторианцы в шлемах, в обрисовывающих грудь панцирях уходят и приходят. Уходят и приходят женщины в развевающихся циклах, пестрых и переливчатых, которые бросают разноцветные тени на белые войлочные сандалии и обнаженные у ступней ноги. Жрецы Солнца окружают шатер; вход в него закрыт вавилонской завесой, – на ней нарисованы необыкновенные густые растения, обвивающие своей лиственной золотых павлинов, сидящих на головах бородастых царей в тиарах. Ржание и мычание раздаются в этой части лагеря: за спинами коней видны серые хоботы слонов, лохматые шеи верблюдов, изогнутые рога быков, пригнанных через весь Восток за молодым богоподобным Элагабалом, сыном Сэмиас, прекрасным Антонином, великим жрецом Черного Камня и римским императором. Издали доносятся порой рев львов и мяуканье леопардов в клетках.

В полусвете палатки, где на низком треножнике горит в медленном дыму восковая свеча, на желтых подушках, осыпанных громадными аметистами, под обтянутым изнутри золотой материей балдахинном на четырех наклоненных пиках, покоится великолепное человеческое существо: гордая голова пятнадцатилетнего юноши увенчана высокой, затканной жемчугами, геммами и золотом тиарой, из-под которой шаловливо выбиваются длинные черные пряди волос и падают на белые женственные плечи, видные сквозь богатую шелковую субукулу, переливчатую, как перламутр. Раскинув обнаженные ноги, на шкурах пантер лежит Элагабал, открывая свое рано развившееся тело, которое черный евнух со старческой кожей, белыми зубами и глупо вращающимися белками глаз спокойно обмахивает веером из большого загнутого на конце листа лотоса. Позади разместились полукругом Алексиан и его мать, Маммеа, сестра Сэмиас и Меза, общая бабушка, с пергаментной кожей, но мягкими чертами лица, которое она иногда обращает к Элагабалу и затем сморщивает с легкой тенью на лбу, покрытому золотой сеткой.

Возле Сэмиас, чья шелковая стола покрыта тяжелой паллой с прямыми складками, скрепленной на плече янтарной пряжкой и испещренной рисунками алыми, как солнечный закат, зелеными, как глубь лесов, синими, как воды рек, – возле Сэмиас, чьи нервные движения переливают огонь в блестящих украшениях диадемы, венчающей низкое чело этой обуреваемой страстями женщины, – возле нее сидит молодая девушка с красными губами и тревожными глазами фиолетового отлива, с движениями девственницы, близкой к расцвету; сидит она и улыбается, как бы замкнувшись в своем лоне, вздрагивающем от учащенного дыхания. В глубине палатки жрецы Солнца шествуют пред Черным Конусом, высотой с человеческий торс, воздвигнутым на золотом алтаре среди светильников с несколькими лампами, озаряющих углы, заставленные сундуками из ценного дерева с медным орнаментом; персидские маги с длинными завитыми бородами в строгих и царственных одеждах, сараписах, стоят на коленях перед древним изображением оплодотворения.

Когда в светлом пятне между занавесями шатра появились Атиллий и Мадех, молодая девушка вскрикнула, а слегка взволнованная Сэмиас бросила быстрый взгляд в их сторону. В этом шатре, где в удушливом воздухе носился как бы запах человеческой кожи, как бы резкое дыхание людских грудей, смешанное с благовониями, каждый сделал движение: Элагабал приподнялся на ложе, Меза подозрительно наморщила лоб, Маммеа нежно обняла влажной ладонью колено ребенка Алексиана, который, вздрагивая, принял гордую и суровую позу. Соскользнув быстрым движением с подушек, молодая девушка кинулась в объятия Атиллия, который прижал ее к груди. Их ласки длились долго.

- Маленькая Атиллия, нежная сестра, белая, как цветы лилий! Сестра, сестра моя!
- Брат! Мой старший! Я вся дрожу, видя тебя!

Она не перестает целовать щеки и руки брата, обнимает его, трогает его плечи, видя только его одного во внезапном нервном восторге. Элагабал снова невозмутимо опускается на подушки, а евнух продолжает мягко обвеивать его опахалом; восковые свечи горят, жрецы Солнца кружатся вокруг Черного Конуса, маги склоняют бородатые лица над опущенной углом вниз треугольной фигурой, Алексиан и его мать смотрят друг на друга. Меза смягчается постепенно, и грудь Сэмиас высоко поднимается под столой, вызывая шелест тяжелой паллы; взгляд ее больших черных глаз брошен на Атиллия, который в своем халькохитоне имеет величественный вид римского военачальника, а Мадех застыл неподвижно у входа, прижав руки к телу.

Снаружи, точно далекий гром среди шума лагеря, доносится звон оружия и ржание коней, страшный рев и голоса зверей, запертых в клетках.

Родственный восторг Атиллия, нервный порыв и буря юной крови, стихают в последних поцелуях, в веселом смехе, заражающем и императора, и его мать, и Маммею с сыном и даже бабушку Мезу; их лица в полутьме, изменившиеся от сильного душевного волнения, озарены почти добротой и очень похожи. Затем сестра Атиллия снова опускается на подушки; под ее бледнорозовой, затканной золотом столой чувствуется изящное движение молодых бедер, вздрагивают на шее золотые украшения, сверкают жемчуга на ее желтой, плоской у носка обуви и волнуются высоко причесанные волосы, вымытые утром и совсем желтые под звездами из аметистов. И Мадех заметил, что она выросла и стала тоньше и что ее белая кожа стала розоватой.

От черноты бровей и ресниц, тщательно обведенных антимонием, ярче выступала ее белизна, рожденная в гинекеях и в тени шатров императора, которые уже год кочевали с места на место, знаменуя на каждом этапе новое торжество Элагабала и гордое приближение его армии к Риму.

И как в яркой грезе видится Мадеху Эмесса, где она жила и где он знал ее: сады, и дворцы с прямыми террасами, голубые горизонты, оживленные аллеями смоковниц и пальм, алтари, украшенные громадными, как рождающееся солнце, цветами, струящиеся реки с желтыми водами, пятнистая как мрамор, листва растений. Видятся ему и высокие лестницы, по которым он восходил вместе с прислужницами Сэмиас, храмы с витыми колоннами, шествия увенчанных митрой жрецов, несущих Черный Камень, толпы, распростертые пред юным императором, рабы и бегущие солдаты, гремящие поднятыми щитами. И ласки мужчин в залах, выходящих в атрии с бассейнами, в обрамлении плоских стрелолистников, поднимающихся к небу, точно громадные острия лезвий. Видение глубоко чарующее! О, зачем оно вызывает на глазах Мадеха горькие слезы, ставшие почти наслаждением для извращенной природы юноши, которого Атиллий хотел бы лишить мужских черт, – и это горе он старается скрыть, потому что в его памяти встает на далеком фоне картин Азии, как бы в утешение, доброе лицо Геэля.

Атиллия смотрит на него широко открытыми глазами, покрытыми темно-фиолетовой бархатистой дымкой, и они как будто видят тревожные горячечные сны. Украшенные множеством колец, пальцы скрещаются на ее округленных коленях, белизна которых прорезается сквозь тонкую ткань, шелестящую складками.

Издали доносится рокот львов и грозное мяуканье леопардов.

Император говорит Атиллию, – на которого теперь пристально смотрит Сэмиас, – что он назначил его примицерием своей гвардии, так как желает постоянно иметь его при себе, и завтра в великолепном триумфе вместе с ним вступить в Капитолий. Он слегка подносит руку к губам, чтобы сдержать зевок... Заглушая отрывистую команду центурионов, псальтерионы и кифары играют варварские мелодии, в которые врезаются звуки флейт; слышится стук, грохот оружия и ржание коней, а где-то жрецы Солнца падают ниц пред Черным Конусом, как бы

подавленные тяжелой дымящейся атмосферой, а маги напевают неведомую мелодию; в бесконечной ярости воют и мяукают львы и леопарды.

VIII

Рим пробуждался от тяжелого сна, все еще видя перед собой грубую картину въезда Элагабала. То был колоссальный праздник, пронесшийся над городом в вихре безумия, отвратительное вторжение сладострастной Азии, побеждающей Рим своими нагими женщинами, жрецами Солнца с их сомнительными телодвижениями и юным императором, которого толпа называла позорными именами.

В банях и в тавернах, под портиками или в тени ростральных колонн, везде вспоминали вполголоса подробности этого торжества, которое продолжалось и на следующий день в оживленных кварталах в виде опьянения, достойного чрезмерной распущенности Элагабала, изумлявшей даже старых римлян, привычных к необузданности императоров.

Все как бы снова видели его с нарумяненным лицом, обрисованными, как у идола, бровями, в высокой желтой тиаре, усыпанной опалами, аметистами и топазами, в шелковом длинном одеянии, вытканном невиданными резкими рисунками, и с длинными висячими рукавами. Он, в священной позе божества, правил колесницей, запряженной шестнадцатью белыми конями, а над ним, на украшенном драгоценными камнями алтаре, возвышался, точно фаллос, Черный Камень с округленной вершиной. Нагие сирианки, со сладострастными движениями бедер, раскидывая руки и ноги, плясали под звуки струн вавилонского асора и трепетание цистр; ряды жрецов Солнца изображали притворный ужас пред мужским объятием; по улицам ездили золоченые колесницы с извилистыми вставками из серебра и слоновой кости, с горящими в курильницах благовониями и дымящимися в высоких вазах редкими винами; а город запрудили тысячи жителей Востока в развевающихся одеждах без поясов и в мягких сандалиях, открывающих нижнюю часть обнаженных и изнеженных ног, и с повязками из пурпурной кожи на подбородках. Толпа сенаторов и консулов шла пешком, распевая гимны началу жизни, Черному Камню, отныне изгонявшему своей конкретной символикой человекоподобных богов Запада. Живописность и торжественность события дополняло шествие скованных слонов, леопардов и львов; носилки на плечах черных рабов с волосами в золотых сетках; рэды, скользящие на четырех, расписанных изображениями колесах, двухколесные тэнсы, быстроходные, запряженные необычайными животными: дикими ослами, джигетаями, зебрами и зебу; ярко убранные колесницы и в них, лежа на подушках шафранного цвета, женщины знатных римских родов, – их груди волнуются под льняными субукулами, не скрывающими белизны тела и трепещущих бедер, к которым иногда прикасаются губами мужчины! Толпы жрецов Кибелы бьют в медные кимвалы и ударяют пальцами по барабанам, нанося себе удары в грудь или показывая на себе свежие следы оскотления; жрецы Пана, опоясанные кожей, истязают ремнями женщин, убегающих с криками; египетские жрецы несут Анубиса, бога с собачьей головой; множество музыкантов, мужчин и женщин, играют на разных инструментах, то колоссальных, то маленьких: на высоких как колонны, самбуках, на псалтерионах, которые держат на голове, на тибиях с простыми и двойными отверстиями, на флейтах Пана, роговых и железных, на магадисах, тамбурах, эпигонионах, хеласах, форминксах, кифарах и разнообразных лирах, на палестинских небелах и ассирийских асорах, – все формы, все мелодии, все чары несутся в ритмах, которые как будто спорят между собой, но в конце концов сливаются в очаровательной гармонии. Наконец, торжественное шествие замыкается фиглярами и канатными плясунами; юношами сомнительного вида, смуглыми, с широкими бронзовыми кольцами в ушах, ведущими на цепи медведей, африканскими жожаками верблюдов. Бесконечные и шумные толпы, говорящие на всех языках, текут живой рекой по пестрым улицам вокруг Капитолия: англы, германцы, иберы и лигуры, итальянцы и либийцы, нумидийцы и эфиопы, даки, греки, филинцы и азиаты; они везде, они появляются отовсюду, опьяненные своей победой над Римом в свите Элагабала, чья колесница движется среди криков, подобных раскатам далекого грома.

Этот триумф все же сохранил внешние военные черты императорских выездов, настолько сильна была дисциплина, даже при политических разногласиях. Впереди, наподобие прежних триумфов, шли энеаторы, трубя в изогнутые рожки; за ними музыканты, играющие на трубах и бронзовых рогах, округленных наподобие больших полумесяцев; далее трубачи со спиральными букцинами. Затем жрецы в белых одеждах вели быков с позолоченными рогами и гирляндами цветов на головах; вместе со своими женами и детьми шли в цепях пленники, отказавшиеся признать нового властителя, и ликторы с обвитыми лаврами связками прутьев, а за ними следовали плясуны в золотых венках, одетые сатирами. Затем – вся армия.

Четко проходили отряды катафрактариев и сагиттариев, манипулы гастариев, триариев и принципов, а по краям шли центурионы с бронзовыми значками на груди, а во главе отрядов развевались желтые или пурпурные знамена; ауксиларии двигались тяжелым шагом, с обнаженными мечами, поднятыми щитами, за ними шли легкая и тяжелая конница в железных и медных шлемах, парфянские стрелки и критские пращники со звериными мордами над энергичными черноволосыми головами и, наконец, лагерная прислуга и рабы, погоняющие навьюченных мулов, верблюдов и слонов. Львов и леопардов со скованными ногами подгоняли ударами заостренных палок, и они ревели, делая нервные прыжки из стороны в сторону.

И все это пронеслось в звуках инструментов, в шумных, несмолкающих кликах народа, приветствовавшего Элагабала, хотя многие его проклинали, среди ярости некоторых, наносивших удары гражданам, посмеявшимся не склониться пред Черным Камнем, сверкавшим на солнце, лобзавшим своими лучами светлые острия пик, желтые борты щитов, синюю чешую брони, золотые древка знамен, врезавшихся смешением своих ярких красок в лазурь неба, неподвижного и строгого.

Весь день эта слава новой империи была видением перед глазами всех; точно бушующее море, она доходила до храмов, разбиваясь волнами у портиков и углах улиц, и с торжеством взошла на Капитолий; а под конец без всякого порядка наполнила форум вооруженной толпой мощных тел, дышащих запахом принесенного с собой разврата. Возмущенные римляне, враждебные Востоку, закрывали лица, а матроны спешили скрыться в домах. За попытку прогнать императора и остановить шествие Черного Камня преторианский префект Юлиан был зарезан; кровь пролилась уже, и теперь всякий думал, что настал конец Рима, побежденного теми, кого он до сих пор побеждал!

IX

В Велабрском квартале, под портиками, открылась цирюльня; складные ставни отодвинулись к окрашенной красным воском стене, и стала видна внутренность лавки, с табуретами и скамьями: стальные зеркала на полках, шкафы с косметикой, банки с помадой и флаконы с эссенциями, вывезенными издалека, по углам куски тканей, в глубине изразцовая раковина, вокруг которой пузатые амфоры со свежей водой. За поворотом улицы виднелась крыша Большого Цирка между Авентинским и Палатинским холмами, возвышающаяся над домами, на которых сияли отблески, – точно гигантский шлем, придавленный копытом чудовищного коня.

Граждане волочили свои сандалии по мостовой, под немymi взглядами патрициев, гордо облаченных в тунику, украшенную парагаудом, с шелковым цветным шитьем на рукавах, плечах и у нижнего края; иностранцы, останавливающиеся в изумлении на каждом шагу, служили посмешищем школьников, которые подбрасывали для забавы свои пекалы и дощечки.

Утро окутало все розовато-серой пеленой, держащей сияние золотистой пыли в тяжелом воздухе. И некоторые из прохожих отряхивали свои тоги, вдыхая свежий воздух, веющий с Тибра, который виднелся в узких промежутках улиц, тягучий, медленный, густой.

Цирюльник, худой, низкорослый грек с плоским бритым лицом, засучил рукава туники и вымыл свою лавку, не жалея воды. Римлянин с гладкими на висках волосами, вздернутым носом, бритыми усами и редко встречающейся острой бородкой, держал под мышкой длинный свиток с висячими красными шнурами и, смеясь, смотрел на цирюльника, открыв испорченные зубы. Он оперся о колонну портика и рассуждал громко:

– Ты недостаточно все очистил, Типохронос; тут есть пятна, которые могут опозорить твою лавку. И клиенты не захотят больше бриться под твоей греческой рукой. Поверь мне, заставь сверкать, сделай блестящими, как зеркала, потертые фрески твоего потолка.

Тогда цирюльник, откликнувшийся на свое тяжелое имя Типохроноса, покачал головой и пробормотал:

– Попробуй сам, потри своими кулаками, чтобы заблестело то, что уже слишком ярко сияло.

Собеседник ответил ему пронзительным голосом, быстро двигая языком, как металлической пластинкой:

– Знаешь, сегодня я хочу прочесть твоим клиентам мою поэму «Венера», и, хотя она уже закончена, я могу все-таки дать в ней место и тебе, описывая ее крылатого сына Амура, если только твоя лавка будет так же чиста, как вода твоих амфор.

– Ну, конечно, – сказал Типохронос. – Я готов на все, чтобы только быть тебе приятным, поэт!

И, постукивая по полу деревянными сандалиями, брызгавшими грязной водой на стены, он стал снова чистить лавку.

Наконец, он закончил работу, привел в порядок скамейки, установил зеркала на полках, выровнял амфоры, и лавка приняла веселый вид. Поэт Зописк опустился на кресло, на греческую кафедру с полукруглой спинкой, покрытой мягкими подушками и служившей предметом восхищения клиентов Типохроноса. Слабый луч солнца, играя пылинками, сверкнул на потолке и, отразившись от него, разбился на поверхности зеркал. По улице шли люди: одни, величественно завернувшись в белую тогу, в сопровождении печальных, облаченных в рубища спутников – богачи со своими клиентами; другие, по двое или группами, по три-четыре, одетые просто, как римские граждане, тихо беседовали между собой, бросая по сторонам быстрые взгляды; бешено мчались всадники в чешуйчатых доспехах, так же как и их кони, а вслед за ними гнались собаки.

– Атта!

– Зописк? Здравствуй! Привет Типохроносу, который ловко побреет меня, не правда ли?

Это был Атта, христианин Атта. Он уселся после любезного обращения к Зописку и Типохроносу. Последний вспенил гальское мыло в виде теста, приподнял подбородок клиента и энергично начал втирать пену в шероховатую кожу. Атта заговорил. Зописк небрежно оперся о спинку кафедры, подняв кверху обритую губу и острую бородку, и рассматривал рассеянно потолок лавки Типохроноса, бритва которого свистела, врезаясь своим скрипящим звуком в разговор.

– Видишь ли, Рим имеет основание быть довольным пришествием Элагабала, который есть Антонин. Хотя он и великий жрец Черного Камня, но примет в Капитолии и всех богов наравне со своим божеством, значение которого я понимаю. И хотя этот Черный Камень и не имеет человеческого лика, как Зевс или Дионис, и как все наши боги, но все же он, однако, прекрасно олицетворяет великое всё, Космос, в котором живет каждое существо. Не есть ли это начало жизни в форме активного мужского элемента? По крайней мере так я понял моим слабым разумением. Правда, начало жизни, обоженное таким образом, может привести к крайним увлечениям, к ошибкам, которые унижают жалкое человеческое существо, каким являемся мы все, – и ты, Зописк, и ты, Типохронос, и я, Атта, и многие другие! Именно так говорили вчера римляне, любящие своих богов и вовсе не любящие Черный Камень, хотя это отнюдь не означает вражды к императору! Я попрошу вас не искажать смысла моих слов и не приносить их к ногам Элагабала с лукавой мыслью. Вчера я рукоплескал при въезде императора, и его триумф вызвал у меня радостные слезы!

Он говорил медленно, осторожно и очень серьезно под белой пеной черного мыла, которую снимала бритва Типохроноса, со скрипением удалявшая волосы с его лица. Атта не признавался, что он христианин, но и не отрицал и, обходя этот вопрос молчанием, старался совместить все, когда говорил о богах. Но насмешливый Зописк погладил рукой, державшей свиток, свою острую бородку и, подняв другую руку, щелкнул двумя пальцами.

– Да, ты плакал, христианин, – сказал он, – а один из твоих братьев бросился под колесницу Элагабала и был раздавлен!

Атта сделал движение. Типохронос обрезал ему худую щеку, и струйка крови потекла на его подбородок.

– Я – христианин! Ты преувеличиваешь, поэт; я только бедный друг учений Крейстоса, или, вернее, учений Востока, где он родился. Но в особенности не говори другим об этом: я люблю богов, а Крейстос бог, так же как ты – приятный поэт, а я – скромный гражданин.

Он болтал, смеялся, в глубине души недовольный тем, что Зописк знает, что он христианин, но не смеет ни признать, ни отвергнуть Крейстоса. Он ходил к Типохроносу для того, чтобы сойтись с его клиентами, из которых некоторые были очень богаты; один египтянин, недавно прибывший в Рим, казалось, слушал его со вниманием. И, если он был паразитом, то и Зописк также. Поэтому какая ему польза в том, что он признает веру в его присутствии, тогда как тот может повредить ему в глазах клиентов? Но Зописк рассердился и, воспользовавшись ожиданием Типохроноса с поднятой в руке бритвой, сказал:

– Ты боишься и лжешь, старый лицемер! Всякий знает, что ты присутствуешь на собраниях христиан. Почему же не признаться в этом мне, если я и так все знаю?

Атта принял таинственный вид. Он поджал губы, под его глазами образовались тревожные складки, озабоченно оглядевшись по сторонам, он низко наклонился к Зописку и проговорил, в глубине души надеясь, что слова его станут известны, кому надо:

– Новый император будет мне за это благодарен, поверь мне! Ему нужны уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть все, что делается в его империи.

Типохронос осмелился вмешаться:

– Да, рассказывали о каком-то старом христианине, которого схватили солдаты, а затем отпустили по приказанию императора. Он наносил опасные оскорбления Элагабалу. Имя его мне неизвестно.

– Его зовут Магло, – сказал Зописк. – Это гелвет и так же, как и Атта, он христианин.

Он нападал на Атту, желая повредить его доброй славе, чтобы не иметь соперника среди клиентов цирюльника, ожидавших каждую минуту. Тогда Атта, заносчивый по отношению к бедным христианам, скромный и вкрадчивый перед знатными гражданами, быстро вскочил; широкий порез у ноздрей покрыл красным пятном его лицо:

– Магло! Магло!

Он повторял это имя с явной боязнью преследования, которое могло перейти с Магло на его худую и спесивую особу, чему немало способствовала его принадлежность к числу христиан. Он хотел узнать, почему Магло едва не убили, а затем отпустили, и Зописк рассказал ему об этом, как очевидец происшествия. Как известный всюду популярный поэт, он бежал к Капитолию навстречу Элагабалу и нес в руках свиток, свою поэму «Венера», желая посвятить ее божественному. В это время старец, взобравшийся на трибуну, призывал на Рим проклятие божества и молил Крейстоса христиан стереть с лица земли следы мерзостей Черного Камня. Стечение народа вокруг него привлекло Зописка и помешало ему добраться до Элагабала, который, конечно, охотно прочел бы его поэму. Но солдаты разогнали толпу ударами копий, мечей и поясных ремней и, схватив Магло, повлекли его к Элагабалу.

– Его отпустили, потому что он был христианином. Как говорят, новый примицерий преторианцев повлиял при этом на императора!

– Этот примицерий – патриций, прибывший с Востока, по имени Атиллий? – спросил Типохронос.

– Да, Атиллий; так называет его народ, – продолжал Зописк. – А вот как я узнал, что ты христианин, – сказал он Атте, который, слушая поэта, сделал кислую гримасу. – Магло проходил мимо меня и восклицал: «Я христианин, другие тоже христиане, но они не со мной. Я ненавижу Элагабала, хотя он не сделал мне никакого зла, но Заль любит его и Геэль также. Правда, Атта оспаривает меня и видит в Крейстосе единое лицо, а я – три лица. И никогда я не буду заодно с Аттой, так же как не буду с Геэлем и Залем! Мой Крейстос есть мой Крейстос, а не их!»

Трое вновь пришедших загородили вход в лавку. Типохронос оставил Атту, который пошел мыться к раковине, в глубине комнаты. Даже Зописк, голос которого сделался звонко торжественным, встал, все еще с рукописью в руке, и поцеловал край диплойса пришедших.

– Привет тебе, чужеземец с берегов Нила! И также вам, чье рождение видела Греция, мать муз!

Льстиво он унижался перед Амоном и греками, которые каждое утро заходили к Типохроносу, чтобы узнать события предыдущего дня. Очень скупые и платившие только для виду, греки довольствовались тем, что душили свои волнистые роскошные бороды. Этого не требовалось для круглого лоснящегося лица Амона, опушенного только редкими выющимися волосами, как у метиса от египтянки и эфиопа. И он стал жертвой безжалостной жадности цирюльника, который неумоимо покрывал его лицо благовониями, натирал всякими помадами и мазями, – и все это с большой торжественностью, которая нравилась Амону, хотя и дорого ему стоила.

Он приказал почистить себе ногти и натереть голову египетской эссенцией, очень довольный тем, что Зописк вертится возле него. Быстро оставив в покое Атту, который после бритья сидел на скамейке, положив одну ногу на другую, паразит Зописк усердствовал возле Амона, угадывая в нем меньшего скептика, чем Аристес и Никодем. В настоящий момент он инстинктивно желал хорошего обеда, который Амон мог предложить ему, что-нибудь вроде трапезы

из вареного щавеля, грибов, сардин и яиц, – и это надо было завоевать, прежде чем египтянин выйдет из рук цирюльника вымытым, надушенным и польщенным.

Зописк не думал больше об Атте; он даже презрительно повернулся к нему спиной, худой спиной иногда голодающего поэта. Он говорил Амону:

– Видишь ли, чужестранец, я хотел бы быть твоим рабом, ибо большую доброту я вижу в твоём лице и высокий ум в твоих глазах. О, почему у меня нет такого учителя, который указал бы мне путь муз и помог бы избежать терний!

Амон улыбался, поворачивая голову под руками Типохроноса и обнаруживая во всей широте и блеске своей луноликости доброту лица и ум глаз. Но Никодем, завладевший греческой кафедрой, сказал:

– Эй, поэт! Он может тебя купить в качестве раба, только он. Ты будешь прислуживать ему, натирать его эссенциями, и Типохронос потеряет своего клиента.

Цирюльник стал энергичнее натирать Амона, голова которого ушла в плечи, вызывая шелест его полосатого диплойса. По лицу египтянина прошла нервная судорога, – так проявлял Типохронос свое недовольство, огорчение тем, что Амон не будет больше его клиентом.

– Я предоставляю эту обязанность Типохроносу, – ответил Зописк заискивающим голосом, – но я буду читать ему поэму о Венере.

– Амон предпочитает гимны Серапису, – заявил Аристес, высовывая язык перед зеркалом.

Тогда Атта встал, очень недовольный инициативой торговца чечевицей и обеспокоенный тем, что о нем забыли. Он чувствовал голод. Утро уже на исходе, и надо поймать какого-нибудь щедрого гражданина, который пригласил бы его на дневную трапезу, о какой мечтал и Зописк. И, если в кругу христиан, погруженный в апологетику, он казался свободным от всяких материальных потребностей, то совершенно иначе держал себя с политеистами, которых преследовал своей навязчивостью. Тихо дернув Амона за край диплойса, он сказал:

– У тебя отличный язык. Я отчасти врач, поверь мне! Я раньше учился лечить людей.

В действительности ничего подобного не было. Атта не был врачом, но что только бы он ни сделал, чтобы войти в милость такого иностранца, как Амон? Поглощенный мечтой о трапезе, он в этот момент забыл и о своей религии, и об ужасном Зале, и о христианах, собирающихся у Геэля. Но Зописк, одной рукой дергая свою острую бородку, а другой потрясая свитком, воскликнул:

– Серапис, Изида, Тифон, Атотис, Апис, Суд-Ану, Фата, Кнеф, Гор, Ма, Ра, Нум, Зом, Невтис, Апепи! Я знаю всех божеств, Амон; я могу воспевать их на новый лад в асклеиадических, гликонических и фалелических стихах. Я могу вызвать их чередой под звуки тамбурахов, подобно жрецам этих богов, которых я всегда почитал!

Внезапно испугавшись, что Зописк завладеет Амоном, Атта поцеловал его сандалию из желтой кожи, скрепленную зеленой перевязью. И вступил в соревнование:

– Амон! Ты носишь имя единственного бога, превосходящего всех богов! Амон! Твое имя приносит тебе счастье, я это вижу по твоему цветущему лицу. Ты слуга Сераписа, но ты поклоняешься единственной мировой силе. Такова и моя вера! Я не только христианин, как скажет тебе этот поэт, но и поклонник Аммона с рогами овна, он есть также и Зевс, и Митра, и Ваал, и Явех. Мы сходимся с тобой.

Он надеялся угодить торговцу, признавшись в своем христианстве под маской божественного единства, так как если бы он высказался иначе, то Зописк, которого он оглядывал теперь с презрением философа и высшего учителя, не преминул бы обличить его и таким образом лишил бы обеда. Типохронос чистил ногти Амона и слегка щекотал ему, как это обыкновенно делают куртизанки, ладонь и промежутки между пальцами. Египтянин блаженствовал.

Перед лавкой собралась толпа. Юноши и молодые девушки, почти нагие, с непристойными движениями бедер, и облысевшие индивидуумы, не твердые на ногах, с темными кру-

гами под глазами от изнуряющих пороков, толкались у входа, дерзко разглядывая иностранцев и делая им знаки рукой, как будто зазывая для прелюбодеяния. Типохронос закричал на них, они умчались с потоком скверной брани, но Атта, добродетельный в глазах всех христиан, кроме Заля, успел свирепо ущипнуть за ногу одного из этой стаи.

Пока греки в свою очередь проходили через руки цирюльника, Зописк развернул свой манускрипт перед изумленным Амоном. В тесной лавке появились другие клиенты. На одних были белые тоги, один конец которых был наброшен на негодующие головы, а другой стягивал стан, покрытый испариной; туники других опоясывались выше толстых животов, и в пышных складках одежды хранились мелкие принадлежности личного обихода: ассы и квинкунксы, свертки ниток и наперстки, даже маленькие оловянные зеркальца с короткой ручкой. Пришли двое домовладельцев с Палатинского холма, богатый банкир, владелец, как говорили, тысяч рабов; несколько торговцев квартала и фабрикант лампад, все давние клиенты Типохроноса, приходившие не только бриться, причесываться, душиться и чистить ногти, но также узнавать новости, так как эта лавка служила местом свидания праздных болтунов квартала.

Все жестикулировали и говорили очень оживленно, складки их туник и тог колыхались:

– Это конец Рима, это смерть наших богов! Римский народ не потерпит такого кощунства. Перенести наши священные Щиты – Палладиум и огонь Весты в храм сирийца! Рим не переживет этого!

Они кричали, закрывая лица, показывая кулаки, толкаясь о стены или наступая друг на друга, как бараны, с озлобленными глазами, приподнимаясь на носках своих плоских сандалий и беспомощно опуская руки. Зописк и Атта подошли к этой толпе и начали сильно пихать локтями одних и судорожно дергать за края одежды других. Амон, разинув рот, силился понять что-либо в этой кутерьме, а греки явно получали удовольствие. Они забавлялись, восхищаясь движениями и криками и посмеиваясь в свои длинные и волнистые агатовые бороды.

Как бы для усугубления негодования клиентов, улица наполнилась людьми: послышались глухие раскаты барабанов и тимпанов, рев животных, резкие крики, топот людских ног и лошадиных копыт, – а над всем господствовали острые звуки железных рожков, к которым присоединялся варварский гимн в беспорядочном ритме, и зеленые, желтые краски улицы, плохо сочетающиеся под латинским небом. Медленно двигалась в светлых лучах солнца процессия, и во главе ее колесница Элагабала, восседающего на золотом троне, положившего ноги на золотую скамейку: он был весь в золоте, раскрашенный, нарумяненный, пышно увенчанный тиарой, величественный, как верховный жрец. А над всеми господствовал Черный Конус.

X

Процессия медленно прошла пред глазами ошеломленных клиентов Типохроноса. За увенчанными митрами жрецами Солнца шли салийцы в вышитых туниках и в тогах-пре-текстах, с медными поясами и в остроконечных шапках; держа в правых руках мечи и повесив на них священные щиты, они плясали пиррическую пляску. Понтифики в окаймленных пурпуром одеждах и войлочных головных уборах потрясали легкими жезлами, на конце которых был апекс, клочок шерсти. Они окружали изукрашенную слоновой костью и серебром колесницу; на ней был священный огонь, хранимый в бронзовом сосуде, и Палладиум – прекрасная большая статуя Минервы в шлеме, с бирюзой в глазных впадинах, со шкурой козы Амальтеи на груди, с копьем и щитом в руках; в середине щита – голова Горгоны с змеевидными волосами.

Были также и посвященные Пана, и галлы Кибелы вместе с жрецами Изиды, которая могла объединить в своем лице всех богинь, так как многотрудная, она олицетворяла природу и ее силы; затем авгуры в трабеях с багряными полосами, узнававшие будущее по полету птиц; аруспии, предвещавшие судьбу по внутренностям убитых животных; септемвиры, устраивавшие публичные празднества, согласно священным ритуалам; солдаты, поклонявшиеся умершим императорам; наконец, последователи всевозможных религий, соперничавших в Риме. Тут же вели украшенных гирляндами из листьев быков, баранов и овец, которые с мычаньем и блеяньем весело шли на заклятие.

Вслед за Элагабалом, медленно и сладострастно покачиваясь, двигались несомые шестнадцатю рабами широкие носилки, в которых возлежали две женщины. Разноцветные ткани и полосатые завесы, украшавшие эту лектику, волновались в дыме благовоний, курившихся в огромных вазах на четырех углах носилок. Процессию замыкали преторианцы, сиявшие золотом и ударявшие золотыми копьями о золотые щиты; всадники, много всадников разных родов войск; сагиттариис с высоко поднятыми луками; катафрактариис, покрытые броней из подвижной чешуи; skutarii, потрясавшие продолговатыми щитами; африканские варвары, сидевшие на конях без чепраков и стремян под сенью вертикальных знамен, увенчанных снопом сена, рукой или животным, петухом, кабаном, орлом или волчицей. Шествие сопровождала собравшаяся со всех сторон толпа, шумная, необъятная и все более растущая.

– Ты узнаешь их? – внезапно спросил египтянин Никодема. – Узнаешь ты Атиллия и его вольноотпущенника?

И, желая все видеть, несколько не возмущаясь кошунством Элагабала, он собрался покинуть греков, цирюльника и его клиентов. Но Атта и Зописк после минутного колебания схватили его за край диплоиса.

– Ты не знаешь Рима; я провожу тебя!

– Я буду твоим защитником, проводником и опорой!

Они кричали среди шумных звуков песен, инструментов, человеческих голосов, сливавшихся с ревом железных труб и стремительными мелодиями лир, цистр, тимпанов и сиринксов. Огромная толпа, точно все покрывающее море, увлекла их к храму Солнца, на Палатинском холме, куда Элагабал задумал перенести священные предметы, отнятые у римского культа, до которых в течение веков не смел никто коснуться! Толпа уносила с собой египтянина и его спутников. Пред ними были сплошь спины и спины рабов и плебеев, а за ними груди, сдавленные в свою очередь плечами; и все двигались, изредка видя только острия копий, шлемы всадников и головы коней, останавливаясь посреди форумов, окаймленных высокими домами, из окон и с крыш которых неслись клики людей, в то время как Элагабал на своем сверкающем троне решительно являл всем святыню конуса жизни.

Амон пожелал увидеть вблизи Мадеха и Атиллия, и тогда Атта и Зописк, взяв его под руки, в несколько минут пробились сквозь толпу, которая отвечала им ударами, и нагнали

шествие. Теперь можно было лучше видеть Атиллия во главе отряда катафрактариев, покрытых чешуйчатой броней, так же как и их лошади, а позади их Мадеха, верхом на черном коне. С того расстояния, на каком Амон и его спутники наблюдали вооружение Атиллия, его шлем и синий развевающийся плащ, и желтую с белым митру Мадеха, золотые украшения у ворота и блеск его ниспадавшей одежды, с яркими полосами и необычными рисунками, – все это сливалось в ослепительном блеске.

Рядом с египтянином бежал человек из народа, краснолицая голова которого с выюющимися волосами беспокойно дергалась то вперед, то назад. Иногда он обгонял его, углублялся в толпу, опустив голову и заложив руки назад, затем возвращался, приподымался на концах обутых в грубые сандалии ног и, прикладывая руку к глазам, кричал непонятные слова. Затем он останавливался, как бы потеряв энергию, в испарине и ознобе, потом снова углублялся в теснившую его толпу. Очевидно, он тоже хотел приблизиться к одному из участников церемонии, видеть его, говорить с кем-то из следовавших за Элагабалом. Этот краснолицый человек сильно толкнул Атту, который, узнав его, попытался увести Амона подальше. Но тот его немедленно окликнул.

– Брат мой, Атта, зачем ты избегаешь меня?

То был Геэль, помятый в толпе и усталый; он старался привлечь к себе Атту, боясь в то же время, чтобы тот не потерял Амона, увлекаемого в другую сторону Зописком.

– Я не избегаю тебя, Геэль! Напротив, напротив!

И он ловко увернулся от Геэля, который простодушно сказал:

– В свите императора есть человек моего племени, друг моего детства, который будет нашим защитником, если язычники пожелают нас преследовать. Мы положимся на него. Император оставит нас в мире и даже поставит изображение Крейстоса рядом со своим Черным Камнем, который для него есть символ жизни.

– Проклятие! – крикнул Атта, поднимая руки и приближая к смущенному Геэлю свой выдающийся подбородок и лицо, искаженное суровой складкой у челюстей. Для Геэля, как друга Заля, пришедшего также с Востока, было вполне допустимым поклонение Крейстосу по соседству с Черным Камнем, которому поклонялся Мадех и которого обожествлял Элагабал. Но Атта продолжал возмущаться, однако без особой опасности лишиться обеда, так как его негодование, заглушаемое шумом толпы, не долетало до Амона и Зописка. Говоря все увереннее, он принял горестный и одновременно угрожающий тон:

– Зачем ты следуешь за этим шествием нечестия?

Он обращался к Геэлю, как и ко всякому простому христианину, свысока. Для Геэля, видевшего Атту лишь на собраниях, где тот толковал трудные места из учения Крейстоса как суровый и благочестивый догматик, другая сторона его жизни оставалась тайной. С скромные бедняки, а к ним принадлежал и Геэль, едва осмеливались заговорить со своим строгим наставником. Однако этот вопрос настолько не вязался здесь с присутствием самого Атты, что Геэль твердо ответил:

– Но и ты также следуешь за шествием. Я хочу поговорить с Мадехом, с моим юным братом Мадехом, которого я видел только один раз со времени его приезда в Рим вместе с Элагабалом.

Атта сделал негодующее движение и неосторожно отпустил руку Амона, которого окончательно увлек Зописк. Их разделила волна грудей, волна плеч. Оба христианина, оставшись рядом, посмотрели друг на друга почти с ненавистью, легко возникающей между богатым и бедным. А в это время в толпе на миг показался свиток с красными висячими шнурами, которым Зописк махал над головами в знак своего откровенного торжества.

Как хотел бы Геэль попросить Мадеха остановиться и взять его с собой! Но все время раздавалось пение жрецов, топот лошадей, восклицания толпы, усиливающиеся звуки инструментов: пронзительных флейт, волнующихся арф, ударяемых кривыми палочками тамбури-

нов, звенящих цистр, трескучих кротал, – звуки, сопровождавшие движения обнаженных рук и грудей! Продолжалось непоколебимое шествие Элагабала; его лицо, ровно раскрашенное, в золоте, киновари и белилах было похоже на лик идола, с тонкими чертами, будто выбитыми на медали; прославляемый Черный Конус был подобен фаллосу, превознесенному в безмерном поклонении! Этот Конус господствовал над всем, гордо и властно врезаясь своими очертаниями в голубое небо и призывая толпу к поклонению культу реальной жизни.

И если бы даже Геэль крикнул, то Мадех не услышал бы его! И не только из-за шума толпы! А и потому еще, что Мадех был счастлив, шествуя рядом с Атиллией, возлежавшей рядом с Сэмиас в ее лектике, которая останавливалась через каждые сто шагов для смены шестнадцати рабов новыми. Тогда глаза Мадеха встречались с мечтательными глазами Атиллии, оттененными нежной краской лица и черными линиями бровей. Его странно взволнованный взгляд скользил от ее глаз к груди, которую красиво окаймляла золотистая цикла, прозрачная как искрящаяся радугой вода; затем останавливался на белом пышном бедре, перехваченном браслетами с драгоценными геммами, нескромно вырисовывавшимся сквозь разрез ее циклы. И долго еще ему виделся этот сладкий, так странно протекавший час, и, смутно вспоминая церемониальные подробности, он беспокойно признался себе, что был очарован только ею. Только она одна наполняла его мысль!

XI

Безумная мечта Атиллия, замена культом Черного Камня всех богов, населяющих небеса других народов, стала осуществляться с тех пор, как Элагабал назначил примицерием этого властителя Мадеха и брата Атиллия. Культ жизни через обожание Черного Конуса, смешение полов, или еще хуже, однополое смешение, приняло определенные формы после таинственных бесед Атиллия и Элагабала в одной из зал Дворца цезарей, где обитал теперь примицерий со своим вольноотпущенником, чтобы всегда быть на службе императора. И об этих беседах говорили с некоторым ужасом, предвидя общий переворот в религии империи, окончательное обожествление единого Черного Камня, которого так страшились, и, наконец, позорное торжество Востока над Западом, торжество обычаев, противных непреложным законам жизни, ныне отклоненной от своего предназначения. И Атиллий поражал Рим и всех тех, кто наполнял дворец, – в белых и пурпурных тогах и паллиумах, широких одеждах и высоких, в виде конуса прическах, митрах, усыпанных драгоценными камнями. Он возвысил себя над всеми, он удивлял всех неподвижностью губ и безразличным выражением глаз, – хотя казалось, в нем горит сильная душа, – и в особенности бледным лицом, едва обросшим короткой, острой бородкой с отблеском темного золота, и запечатленным эгоизмом великой любви, неизвестно к кому: всецело ли к Мадеху, чья грациозная тень постоянно следовала за ним, или отчасти к человечеству, которое он хотел бы изменить в интимных влечениях.

Много также говорили о Сэмиас, матери Элагабала, высокорослой, прекрасной, но слабой властительнице империи, дарившей свое внимание евнухам и возницам сына, его консулам, трибунам, патрициям, префектам и военачальникам. Когда она проходила по императорским залам, по прекрасным, окруженным колоннами вестибюлям, по кубикулам, в которые свет проникал издалека, по атриум, садам с рядами деревьев, неподвижных под чистым, спокойным и глубоким латинским небом; когда в сопровождении свиты женщин, в свободных фиолетовых голубоватых столах она проходила мимо рядов гладиаторов и преторианцев, то как будто проносилось веяние ужаса: люди отступали и преклоняли колени. И эротическая наследственность этой матери, наполнившей мир преступлениями, расцвела теперь, точно алый цветок с кровавыми лепестками, в неистовых приключениях, в нервной разнузданности, как будто обряд жизни, выражаемый поклонением Черному Камню и свободой полов, нашел свою жрицу в лице Сэмиас, ненасытной в удовольствиях и опьяненной жадой власти. Рассказывали о ее внезапных исчезновениях вместе со своими женщинами и даже о страшных находках – о прохожих, встреченных в пустынных улицах и убитых ею после того, как она им отдавалась.

Однажды, когда Атиллий заперся с императором, а Мадех ждал его в перистиле, украшенном огромными канделябрами из массивного серебра, где молодой и красивый вольноотпущенник Гиероклес играл в кости с Протогеном и Гордием, возницами, черная старуха, эфиопка, взяла Мадеха за руку и отвела через покои, озаренные голубым сиянием дня, в одну из кубикул гинекея, доступного только мужчинам, посвященным, как и он, однополой любви. Молодая девушка сидела на изукрашенном черепаховом стуле, в то время как ее причесывали и раскрашивали.

Атиллия!

Мадеха охватила легкая дрожь, зародившаяся в глубине его существа. Одна рабыня погружала густые волосы девушки в желтую эссенцию, в шафранную воду; другая покрывала розовой пастой ее лицо, которое оживлялось, как утренняя заря. Третья держала перед ней стальное зеркало с ручкой, изображавшей нагую Венеру, ноги которой переходили в листья аканта. Низкий столик, на трапезофоре, – подставке, – с шеями различных животных, был установлен синими банками с помадой, коробками с золотой и серебряной пудрой для волос;

там же лежали пурпурные и фиолетовые ленты и еще целый арсенал женщины, посвящающей себя сладострастию: щипцы, ножницы, гребни, фиксисы, алавастры с благовониями.

Отдернутая завеса открывала в глубине другого помещения, в полусвете, мраморную ванну, наполненную водой молочного цвета.

Мадех не знал, что сказать, и ждал, чтобы с ним заговорили. Атиллия смотрела на него с вызовом, и в фиолетовом блеске ее глаз играл инстинкт молодой самки, готовой отдаться самцу. Со дня встречи в палатке Элагабала, казалось ему, она стала выше и тоньше, а лицо красивее, оттененное кругами в уголках глаз, с тонким подвижным носиком с розовыми ноздрями. Он угадывал под густой краской ту же бледность, как и у Атиллия.

– Я позвала тебя, чтобы ты меня видел, – говорила она, вперив в него взгляд. Она находила приятной его наружность, слегка женственную, с той восточной негой, которую так хорошо оттеняла его желтая с белым митра, со сверкающими аметистами, его повязка, кайма с филигранными украшениями на его одежде. В особенности казалась привлекательной странная змеистая легкость его почти пляшущей походки и движения его бедер, менее заметные, чем у других жрецов Солнца, но все же вызывающие странные мысли. Она тихо смеялась, обнажая правильный ряд зубов и приоткрывая розовый рот, похожий на распускающийся цветок. Она обращалась с Мадехом, как с ребенком, перед которым не надо таиться.

Прислужница причесала в форме шлема ее волосы, отливавшие цветом желтой бронзы и матового золота. Затем она окружила конусообразный верх прически нитью жемчужин. Другие женщины гладили ее обнаженные до плеч руки пемзой, чтобы придать белизну ее коже и уничтожить нежный пух. Одна из служанок вдела в ее уши тяжелые золотые украшения со сверкающими алмазами, окруженными сардониксами. Атиллия встала и, пока прислужницы несли ей фиолетовую циклу с пурпурными каймами, сбросила с себя нижние одежды; и Мадех увидел ее полностью обнаженной. Но она не казалась смущенной.

Вернулись служанки и начали ее одевать. Он любовался трепетом ее юных грудей, округлившихся под стягивающим их поясом, томной медлительностью движений и легким покачиванием бедер, говорящем о страстном желании. Но тут, громко рассмеявшись, Атиллия вдруг велела ему выйти. Этот смех несколько не обидел Мадеха – он звенел в нем, как чистые звуки золотой цистры. И это было все, что сохранила память юноши.

XII

Мадех гарцевал рядом с носилками, стараясь уловить звук голоса Атиллии, когда их глаза встречались. Она и Сэмиас лежали на подушках, сквозь полуоткрытые циклы видны были их голые груди и бедра, на головах – смелые конические прически, украшенные жемчугами и драгоценными камнями. Иногда они скрывались за колеблющимися плечами носильщиков, затем снова появлялись, и сквозь дым благовоний, струившийся с четырех углов носилок, между развевающимися завесами, они казались сладострастным видением.

Мадех очень любил Атиллию в такие минуты, его влекло к ней еще неясное в его почти бесполом сознании эфеба чувство, но в нем, уже с детства посвященном Солнцу, Черному Камню и мужской любви, не рождалось ни ревности, ни желания. Он был почти того же пола, что и Атиллия, так как, подобно женщине, принадлежал мужчине.

Весь поглощенный радостью, что он рядом с нею, он ничего не слышал и ни на что не обращал внимания. Один раз, неожиданно, Геэль крикнул:

– Мадех! Брат! Мадех!

Но этот голос затерялся в шуме шествия. Процессия поднялась теперь на улицы Пала-тинского холма; отсюда видны были бело-желтый фасад форума, плоские высоты Аркса, крепость Капитолия, куда по широкой лестнице восходил народ; множество храмов и зданий, арок, симметрично воздвигнутых одна против другой, портиков, под которыми оживленно бродили люди, базилик и, наконец, Грекостасис, где принимали посланников чужих стран, в основном греческих послов. Форум, точно муравейник, был полон движения людей в тогах, туниках, паллиумах, диплоях, с обнаженными головами или в конических колпаках, шляпах с опущенными полями, египетских калантиках, в турулах из ярких тканей, похожих на чалмы, в тэниях, поддерживающих возле лба дубовые ветви или ленты. Эти люди снизу следили за процессией, поднимая головы, широко раскрыв глаза, выставив животы, раздвинув ноги и вытянувшись, чтобы лучше видеть, как шествие разворачивается и исчезает за грудой домов квартала. И в последнее мгновение пестрый блеск этой процессии, увенчанный тиарой Элагабала, показался им дивным орнаментом, украсившим кусочек синего неба.

В середине быстро наполнившейся людьми площади возвышался белый, круглый с колоннами храм Солнца с кровлей, обнесенной украшенными фризами. Геэль и Атта видели, как поднялись по ступеням император, Сэмиас и Атиллия, жрецы Солнца и божеств всего мира, носители священных предметов, Атиллий и Мадех, затем жертвенные животные, гонимые солдатами; а кони, рабы и множество народа толпились на площади, наполняя все углы.

– Я не увижу его, я не буду с ним говорить, – проговорил Геэль.

Атта многозначительно сказал ему:

– Будь терпелив; терпение – одна из добродетелей Крейстоса.

А сам он теперь беспокойно смотрел вокруг, надеясь увидеть Амона и Зописка; солнце в это время стояло высоко в небе, Атту мучил голод, а обед был безвозвратно упущен!

В храме звучал высокий юношеский голос, сопровождаемый медленным ритмом пения жрецов, как бы вызывающих к Черному Камню. Незнакомый язык красочными переливами гимнов таинственно молил о безумной любви, приводя в ужас праведных римлян, поклонников западных богов. Затем раздался жуткий рев быков, баранов, овец, отданных на заклание. И над шумом страшной бойни и кошмаром крови победно несясь свежий, чистый, кристальный, полный чарующих оттенков голос Элагабала, кому поклонялись, как живому богу Солнца.

Открылись бронзовые двери, украшенные золотыми гвоздями, кровь потекла по ступеням змеящимися струями, обливая землю, – и все отшатнулось назад. А внутри – огни факелов и сверкание митр; и под тканями балдахина, поддерживаемого наклоненными копьями, Элагабал ниспосылал благословение Черного Конуса; на нем было пурпурное одеяние с широ-

кими рукавами, отягченными рубинами, хризолитами, аметистами, топазами, изумрудами и жемчугами, с тяжелыми складками облачений, падавших на его белые ноги.

За ним – Сэмиас и Атиллия сидели на складных греческих окладах; вокруг, в глубине стенных ниш, плясали жрецы под звуки маленькой флейты и низкого барабана; посредине, на особом возвышении, издыхали животные.

Настала великая тишина! А вскоре Элагабал со своего сияющего трона дал знак к возвращению и исчез в блеске драгоценностей. И под палящими лучами, заливавшими улицы своим белым светом, началось обратное движение людей и коней, шествие жрецов, преторианцев и музыкантов, горделивых в своих одеждах и вооружениях, шествие всей пышной свиты, среди которой покачивалась, как широкая ладья, лектика Сэмиас и Атиллии, сопровождаемая Мадехом, и во главе шествия – Атиллий, впереди отряда катафрактариев, с мечом в руке.

Мадех снова проехал мимо Геэля; даже черный конь его фыркнул над курчавой головой гончара, который окликнул вольноотпущенника. Но тщетно. Почему Мадех забыл его? И, повернувшись к Атте, смущенный Геэль воскликнул:

– Что я сделал ему, моему брату Мадеху, что он не хочет слышать меня?

Атта не ответил. Он исчез, увидев в толпе любопытных костлявые плечи, похожие на плечи Зописка. И, действительно, Зописк был в нескольких шагах. Он не отпускал Амона, цепляясь за него и рассказывая ему про таверну на Эсквилинском холме, где египтянин найдет трапезу, – теперь уже несомненно, – из вареного щавеля, грибов, сардин и яиц, а также жареную рыбу, сочные лепешки, хорошо приправленное сало, изысканные вина и даже красивых юношей, которых воспевали знакомые ему поэты. Амон был голоден и чувствовал себя потерянным в Риме, с которым еще не успел ознакомиться со дня своего приезда. И он кивал головой в знак согласия, когда вдруг с необычайным проворством раздвинув толпу, Атта схватил его за край диплояса.

– Идем обедать, я поведу тебя к Капитолию. Нам дадут щавеля, капусты, грибов, сардин и яиц!

Но Зописк, разъяренный, ворчал, таща Амона за локоть:

– Пойдем со мной на Эсквилин! Рыба, оладьи, сало, вино, подслащенное медом!

– Там будет блудница Антистия. Пойдем! – уговаривал Атта.

– Красивые мальчики. За мной! – в свою очередь звал Зописк.

Так, взахлеб перебивая друг друга, они расписывали ему прелести предстоящего обеда, надеясь и сами воспользоваться ими. Но Амон, забавляясь, только оглядывал их поочередно, – он не совсем хорошо понимал их, но как добрый человек решил никого не обижать:

– Я пойду за вами! Ведите меня в таверну, которая ближе к моему дому!

Тогда Атта и Зописк смягчились. Среди расхолившейся толпы они, как добрые друзья, взяли его каждый под руку, в то время как Геэль, оставшись один, лепетал горестно:

– Что я сделал ему, моему брату Мадеху, что он не хочет слушать меня? Я попросил бы его, чтобы император поклонялся Крейстосу, а не Черному Камню, и я стал бы рассказывать ему про берега Евфрата, где мы жили вместе!

XIII

Закутанный в полосатый диплойс, облежавший его толстую фигуру, и в калантике, ниспадавшей ему на уши, как два широких листа, Амон медленно спускался по Субуре, посещаемой рабами и гостями проституток, кровати которых, сделанные из циновок, виднелись через плохо задвинутые занавеси. Круто спускаясь к Новой улице, Сурбура скрывалась за Vicus Tuscus против форума и оставляла в стороне дворцы, термы, сады и арки, всегда оживленные толпой, в которой встречались жестикулируя и крича, нумидийцы, евреи, индусы, кельты, иберийцы, – словом, человеческие существа трех материков.

Амон шел издалека, из Эсквилинского квартала, куда завел его Зописк, подружившийся с ним со дня церемонии в храме Солнца, месяц тому назад. В этот день он разрешил себе небольшой загул вместе с поэтом, тонкий обед в хорошей таверне, где им подали осетра и миногу, миндальное печенье, нежную ионийскую куропатку, – настоящую редкость, – вина из Альбы, дистиллированные посредством голубиных яиц, и вина с острова Лесбоса на Эгейском море. Зописк напился и его отнесли полумертвым в его жилище, а Амон ушел один, унося в голове винные пары, а в желудке тяжесть кушаний.

Он ни о чем не думал и только бессознательно шел вперед, с тайным желанием, чтобы его позвала какая-нибудь блудница, хотя он и стыдился этой слабости.

В дни своей бедной молодости он привык удовлетворяться немногим, но теперь, когда зрелый возраст принес с собой седину в волосах и ожирение тела, он не был расположен отдаваться первой попавшейся женщине. И что это были за женщины! Римлянки, страдающие бледной немочью, италийки с темными кругами под глазами, чужестранки с плоской грудью, со зловонной кожей и ртом и с безобразным задом, негритянки со свирепыми лицами, предлагающие грязные наслаждения, от которых он заранее отказывался. Женщины звали его, но он не слушал их. И почти бессознательно он по-прежнему грезил о молоденькой египтянке, на которой он женится и которая окружит его толпой черноволосых детей, похожих на него. И эта смутная мечта была достаточно упорна, чтобы сделать его нерешительным.

С трудом связывая мысли, он говорил себе, что хватит с него Рима и что пора ему возвращаться в Александрию. Конечно, Зописк человек приятный, но он не стоит последнего водоноса в Александрии; и кроме того, поэт слишком любит хорошо покушать в лучших тавернах Рима за счет Амона, который щедро платил за все издержки Зописка, настоящего паразита, хотя и осеянного музами, такого же паразита, как и Атта, который каждое утро при пробуждении Амона говорил ему о превосходстве египетских богов над римскими и о неотразимом могуществе таинственной силы Крейстоса. Амон признавался себе, что не всегда понимал глубокие мысли Атты, так же, как и поэмы Зописка, превозносившие богов: Зому, Нума и Апепи. Да и мешок с золотыми солидами, привезенный в Рим в том сундуке, на который заглядывался на Аппиевой дороге похожий на мумию Иефуннэ, заметно худел.

Шагов через сто за ним шел человек, который иногда начинал громко кричать, вызывая вокруг себя смятение. Амон оборачивался и видел на подъеме улицы широкую шляпу из красного войлока и развевающуюся белую бороду, коричневый плащ, голые ступни и угрожающие взмахи посоха. Как только раздавался крик, сейчас же собиралась толпа; на порогах темных лавок появлялись люди, из окон, на которых сушились заплатанные тоги и туники, высывались головы; и поднимался шум, яростный собачий лай и визг детей. Затем сборище рассеивалось, и одиноко продолжала двигаться по Субуре широкая шляпа, точно плывущий красный корабль, развевающаяся борода, коричневый плащ и голые ноги; и угрожающие взмахи палки отгоняли людей, появлявшихся из соседних улиц.

Эти упорные крики, которые не были понятны и другим людям, начинали несколько беспокоить Амона. Станный человек следовал за ним с Эсквилинского холма, нарушая его

покой и беседу с самим собой после хорошей выпивки, обеда и стихов Зописка, и он подумал, что это было, вероятно, наваждение какого-нибудь таинственного божества Атты, о чем его накануне предупреждали Аристес и Никодем:

– На некоторых улицах Рима появляются странные существа и преследуют иностранцев, чтобы отгрызть у них кусок мяса из плеча.

И он машинально поводил плечами, взглядывая на них тайком, под страхом этого предупреждения. Особенно его пугала палка. В вечернем свете эта палка отбрасывала гигантскую тень, которая перерезала фасады зданий и лизала темным языком крыши лавок. Тень то касалась его ног, то опускалась ему на голову и, казалось, хотела грозно остановить его, чтобы дать возможность странному человеку догнать его и вырвать кусок мяса из плеча.

Случайно в одном из домов Амон увидел приоткрытую дверь, за ней просматривалась узкая комната проститутки: потертые и блестящие циновки, в углу амфора с водой для посетителей, ручное зеркало, несколько банок с благовониями на столике, а на стенах испорченные сыростью фрески, изображавшие нагих амуров и фавнесс, преследуемых яростно возбужденными фавнами. Амон колебался, дрожь волнения и страсти охватила его. Но стоявшая на пороге молодая женщина с кольцами в ушах, с дрожащими на нервной матовой груди ожерельями тихо позвала его и, чтобы завлечь, вышла на улицу и взяла его за руку. Едва она успела ввести его к себе, как длинная, точно мачта, тень палки упала на него в момент его крайнего смущения.

Куртизанка быстро закрыла ставни своей кубикулы, куда проникал теперь только слабый свет с внутреннего двора. В сером полумраке Амон, не зная, что сказать, спросил ее имя.

– Кордула, к твоим услугам!

И, обняв его, она потянула его на ложе из циновок, – общее ложе ее любовников, – с горячей страстностью, встревожившей Амона. Но в это время снаружи поднялся страшный шум, как будто целая толпа собралась взять приступом комнату Кордулы; глухой удар, точно удар топора в ворота крепости, раскрыл ставни. Любовники поднялись, оглушенные.

– Мерзость и отвращение! Я давно слежу за тобой, грешница, и пришел вовремя, чтобы помешать блудодеянию!

Вслед за ударами палки в отверстии показалась громадная шляпа, развевающаяся борода, опоясанный веревкой коричневый плащ, а позади росла насмешливая толпа, заполняя улицу, всю красную, как медь, в мареве наступившего вечера.

– Магло, Магло!

То был старый гелвет, на которого смущенная Кордула указала Амону, увидевшему его впервые. Египтянин вздрогнул! Внезапно вспомнив страх таинственного наваждения, все ужасы о котором ему твердили Аристес и Никодем, случайный гость Кордулы завернулся в свой диплойс, открыл дверь в глубине комнаты и скрылся в проходе. Но сейчас же за ним ринулась и толпа, не зная, в чем дело, может быть, принимая Амона за беглого раба или вора с той стороны Тибра, где обыкновенно скрывалось от властей много преступников, или же за гнусного еврея, похитителя маленьких детей с целью их изжарить, словом, за нечто ужасное и чудовищное. И тотчас же руки опустились ему на плечи, кулак мясника лег на его лицо, среди окруживших его голых ног заматалась собака и дернула за полу его диплойса, а дети, едва прикрытые одной субукулой, вцепились в кожаный ременный пояс его нижней туники. Раздались крики:

– К эдилу!

– Нет! В Тибр его!

В бешено кричащей толпе осаждающих началась давка. Здесь были исключительно обитатели квартала: владельцы мясных и съестных лавок, сапожники, кузнецы, работающие дни напролет на своих низких наковальнях, булочники и пирожники, процветавшие благодаря обжорству римского населения, ткачи и суконщики, изготавливающие тоги и туники, портные,

которых можно было признать по длинным иглам, вколотым в верхнюю одежду. Они не чувствовали никакого нерасположения к Кордуле, промышлявшей среди них своим ремеслом наравне с другими женщинами, которых все хорошо знали и которые насчитывали многих из этой толпы в числе своих случайных любовников; но все негодовали на Амона, которого видели впервые и подозревали в каком-то неизвестном преступлении. Вдруг чей-то голос пересилил остальные. Огромная палка Магло описала в воздухе линию, причем ее как бы недоумевающая тень удлинилась бесконечно, заколебалась и легла на дома, красные в лучах заходящего солнца.

– Братья, послушайте! Братья во Крейстосе! Успокойтесь!

И его палка двигалась, а тень ее перерезала улицу, то укорачиваясь, то извиваясь, коварно скользя или взбираясь по кровельным желобам, охватывая кругами весь квартал. На одном из концов улицы умирало огненное солнце, пурпурное, как дно раскаленного горна, истекавшее алой краской, которая медленно принимала зеленоватые оттенки спокойного, всепоглощающего моря. Магло стоял на тумбе перед жилищем Кордулы, сняв шляпу и подняв к небу длинное худое лицо, поглощенное до самых глаз бородой. А Кордула сидела на постели, опустив изящную тонкую головку на руку, на которой сверкал браслет, тихо потухавший в тени.

– Братья! Когда апостолы, когда Петр, Павел и Иаков, переплыв море, пришли в Рим, они увидели, что здесь процветает порок, что разврат и блуд затмили божественность Крейстоса. И тогда они пожелали, чтобы все народы пошли по истинному пути.

Толпа слушала с большим вниманием слова Магло. Торговцы повернули в его сторону свои важные носы, а мастера прятали свои благоразумные подбородки в складках тог, как будто каждый из них проникался глубокой печалью перед той картиной порока, разврата и блуда, которую гелвет собирался раскрыть перед ними. Но кто-то безжалостно крикнул, махая в воздухе голой рукой:

– Ты христианин, старик, нам нечего слушать тебя. Оставь нам этого человека и уходи!

Но, как будто ничего не слыша, Магло продолжал:

– И апостолы искореняли порок там, где встречали его. И я поступил так же. Я кричал целый день о мерзости падения, я приглашал вас всех, мужчин и женщин, всех обитателей Рима погрузиться в самих себя, отступить от дьявола и преклониться перед Агнцом. Я хотел остановить грех. Зачем эта женщина прелюбодействует? Зачем этот человек только что осквернил себя с нею?

И, не зная, что случилось с Амоном, которого бдительно стерегли, он указал наугад своим грозным посохом, и тень его упала в промежуток между домами, в наступавшую темноту.

– Зачем эта женщина предает свое тело греху, тогда как она должна бы принадлежать Крейстосу, который ждет ее в сферах вечных небес?

Но тот же нарушитель тишины крикнул снова, сильно смущая важные носы и благоразумные подбородки слушателей Магло:

– Это нас не касается. Твоему богу нет дела до тела Кордулы!

Ему вторил другой, который несмотря на сопротивление многих рук протиснулся в жилище испуганной Кордулы:

– Меня зовут Скебахусом, я торгую соленой свининой и даю ее Кордуле за ее тело, которым я пользуюсь, не причиняя никому зла, и доставляю этим наслаждение и ей и себе.

Кто-то еще возмутился:

– Она примет и тебя, если ты ее пожелаешь, хотя ты и стар. Нас всех принимает Кордула!

– Меня! – воскликнул Магло.

Слова о связи с Кордулой так возмутили его, что он застыл на месте, вытянув посох, раскрыв рот и не зная, что сказать. Пронесся смех. Раздались возгласы негодования. Политеистическая толпа бранила Магло; важные носы и благоразумные подбородки торговцев удалились, вероятно, не поняв его слов.

Он хотел говорить снова, но из множества рук, поднявшихся вокруг него, полетели гнилые плоды, корки арбузов и тыкв; что-то грязное прилипло к его бороде, что-то тяжелое упало к ногам Кордулы, которая поднялась в негодовании. Благоразумные люди уходили, оставляя Магло на произвол злых шутников, но со всех сторон стали стекаться христиане, рабы, свободные ремесленники квартала, услышавшие, что вызывают к Крейстосу. Смелые женщины удерживали руки осаждавших. Какой-то человек подбежал к Кордуле и, взяв ее за руку, помог бежать через внутренний двор, куда выходили каменные желтые портики.

– Ах, это ты Геэль! Какой злой христианин этот старик! Ты, по крайней мере, не терзаешь бедных женщин!

И Кордула целовала руки Геэля, который поручил ее Скебахусу, прервавшему речь Магло и теперь ревностно взявшему ее под защиту. Он сказал Геэлю:

– Будь спокоен! Хотя она принимает тебя даром, а меня за соленую свинину, но я люблю ее не меньше тебя!

Геэль вышел в коридор, где забытый в суматохе Амон ждал затишья, чтобы убежать. Геэль узнал египтянина, которого видел с Аттой в день торжества в храме Солнца.

– Я знаю тебя, ты можешь довериться мне. Христиане никому не желают смерти. Немного погодя я провожу тебя, если хочешь, до конца улицы.

И в этих словах Геэля было слышно, что он искренне добр, потому что Амон напомнил ему тот день, когда Мадех проезжал мимо него в триумфе нового культа, не слыша голоса брата, звавшего его. Быть может, этот иностранец скажет Геэлю о забывчивом друге, которого судьба обратила в раздетого в шелк и золото вольноотпущенника, хотя и посвященного Солнцу, тогда как он, Геэль, влачит темную трудовую жизнь в гончарне. Геэль расчувствовался, Амон тоже трогательно взглянул на него, – между ними образовалась та внутренняя связь, которая возникает лишь в родственных душах.

Толпа стала менее густой. Манипула солдат, бежавшая с копьями, предводимая центурионом с мечом в руке, рассеяла ее окончательно. Христиане увлекли Магло, пребывавшего в отчаянье. Его особенно возмущало их полное безразличие по отношению к проституткам, своего рода примирение с пороком, затопившим Рим, как море проказы. С первого же дня он непрестанно восставал против лупанаров и таверн, переполненных людьми, ведущими распутную жизнь; он возмущался императором, обожавшим Черный Камень, символ греха, и открывшим свой храм для всех богов; он жаждал новых гонений, чтобы вера окрепла и возродилась чистота прежних времен. В действительности все происходило совершенно иначе. Христиане, по крайней мере, те, кого он знал, желали защищать друг друга, объединяться, проявлять взаимную помощь, но они оставались чужды тому, что делала империя; даже обряды Элагабала, уживавшиеся со странными идеями брата Заля, не были им противны. Даже политеисты возмущались упразднением их культов ради Черного Камня; христиане же с жалкой снисходительностью относились к порокам тела, прощали грех блудникам и блудницам, среди которых были их несчастные братья и сестры, и не считали их виновными, так как часто голод бросал их в разврат; рабов с детства приготавливали их господа для блуда, свободных же увлекал порочный образ жизни.

XIV

Геэль и Амон направлялись по Новой улице к Тибру, воды которого вдали мелькали пятнами, желтыми, как брюхо ящерицы. Геэль не расставался с Амоном и провожал до его дома, по соседству с лавкой Типохроноса. Они шли и беседовали; гончар сердечно говорил о Мадехе, юном брате из Сирии, теперь жреце Солнца в Риме и вольноотпущеннике примицерия Атиллия, благодаря влиянию которого, как говорили, воцарился в мире восточный культ. Но какое до этого дело Геэлю! Его мучило только обидное воспоминание о Мадехе. Несколько раз он спрашивал о нем в маленьком домике в Каринах, где белый на солнце атрий по-прежнему охраняли визгливая обезьяна, изнывающий от жары крокодил и пестрый павлин. Или же Мадех не хотел принять его, потому что Геэль был христианином? Он признался в этом Амону и спрашивал, не знал ли он Мадеха, он, чужеземец из далекой страны, родившийся в Египте. Амон сказал:

– Мадех! Атиллий! Они переплыли море вместе со мной, сошли на берег в Брундизиуме, и мы вместе совершили переезд до Рима по Аппиевой дороге.

– Значит, ты беседовал с ним, с моим братом Мадехом? Говорил ли он с тобой обо мне, о гончаре Геэле, обо мне, таком же сирийце, как и он сам? Я встретил и узнал его накануне триумфа Элагабала. Мадех подал мне надежду, что я увижусь с ним в Каринах. Говорил ли он тебе об этом?

Полился поток трогательных слов. Но Амон грустно качал головой:

– Я не говорил с ним с тех пор!

Он вспомнил, однако, что Атиллий вырвал его из рук солдат, заставших его в лагерном рву, на дне которого он прислушивался к движению крокодилов, уплывших из Тибра. И он рассказал об этом приключении Геэлю, который проявил недоверие:

– Не могут быть в Тибре крокодилы и не могут они скрыться в один из рукавов реки, протекающей под лагерем! Кто тебя уверил в этом?

Амон рассказал про Аристеса и Никодема. Но Геэль возвратился к разговору о Мадехе и упорно расспрашивал египтянина об одежде сирийского брата, о звуке его голоса, о его повадках, о смехе. И они, не стесняясь, говорили о том, что Мадех, жрец Солнца, принадлежит Атиллию и совершает отвратительное служение Черному Камню.

По сторонам зияли узкие улицы с низкими домами, двери скрывались в нишах заплесневевших стен. На подоконниках, просвечивая сквозь дырявую промасленную бумагу, дымилась лампы. Спутники проходили мимо таверн с закоптелыми потолками, в которых старые проститутки играли в кости с рабами и ворами. Иногда пьяный солдат валялся на их пути, и, чтобы обойти его, они перескакивали через густой ручей, уносивший отбросы: Геэль, не стесняемый в движениях широким плащом, делал это легко, а Амон, стянувший себе живот полосатым диплойсом, с ушедшей в плечи головой, в калантике, едва не попадал в воду. Затем они вышли на песчаный берег. Тибр, казалось, плакал, совсем черный с редкими светлыми полосами, тянувшимися от города.

Из-за округленной вершины Ватиканского холма занималось сияние. Появилась круглая, как щит, луна, озаряя светом извилистое течение вод, пересеченное колеблющимися тенями. И на горизонте, справа и слева, очертились здания, арки, отдельные колонны, точно мачты галер, мосты, дороги, окаймленные храмами с роскошными портиками, ряды домов, усеянных светлыми точками, а у подошвы Капитолия, гордо увенчанного Арксом, – край бесконечного Марсова поля.

Развернувшись от Палатинского холма, они направились в Велабрский квартал, очень оживленный и как бы дымящийся в свете тысяч фонарей, загнутых в виде рожка или сделанных из полотна, пропитанного маслом.

Подходили к концу часы первой стражи, и улицы наполнялись людьми, ушедшими после ужина на прогулку. Тут были очень важные, родовитые римляне, жители Запада, которые сильно жестикулировали, уроженцы Востока, заметные по одежде и по налету таинственности. Рабы ссорились между собой. Иногда несли в лектике какого-нибудь чиновника империи, отупевшего после ужина, и впереди него бежали рабы, расталкивая тех, кто недостаточно быстро сторонился. Периодически улица оглашалась проклятиями – это когда толпа узнавала очередного вольноотпущенника Элагабала, только вчера оставившего какое-нибудь постыдное ремесло. Тогда между представителями Запада и Востока возникали ссоры, неслась разноязыкая брань, – и прерывалось это с появлением патруля, щедро наделявшего всех без разбора ударами мечей плашмя.

Более спокойные граждане оставались дома. Это были ютившиеся в тесных лавках, открытых прямо на улицу или устроенных под портиками, продавцы шелковых и шерстяных материй, кондитеры, инкрустаторы на слоновой кости или перламутре, продавцы благовоний и разных снадобий, по слухам помогавшие женщинам делать аборт; а вблизи закрытых в этот час бань ютились торговцы вином, налитым в большие глиняные амфоры, и соленой свининой, и колбасники, товар которых свисал с потолка неподвижными вертикалями.

На пороге маленького дома с выступающей вперед большой дверью, к которой вела лестница, Геэль покинул Амона, пообещав еще раз прийти к нему, чтобы поговорить о Мадехе. Египтянин взялся за молоточек у двери, и привратник, прикованный цепью, позволявшей ему двигаться лишь настолько, чтобы открыть дверь, уже поднялся на стук, как вдруг у дома выросла толпа, которая, как бы гонимая ветром, помчалась дальше, в направлении форума. Амон, подхваченный толпою, несясь вместе с ней, а в это время из темной улицы появились новые толпы людей, носилки и воины в сверкающих шлемах. Со всех сторон кричали:

– Элагабал! Элагабал!

Отряд конницы проскакал по склону улиц, сверкая кольцами людских и конских броней, в то время как харчевни закрывались с отчаянным стуком. Амон очутился посреди белого в лунном свете форума, с его арками Септимия Севера и Тита, очертившимися в голубоватом воздухе, с храмами Согласия и Юпитера; со стороны Тибра высились храмы Марса и Сатурна, а против них – храмы Кастора и Поллукса, окруженные базиликами и галереями, с рядами изваяний императоров и богов. Там же были расположены дворцы сената и великого жреца; алтарь Весты в круге колонн и статуя Марсиаса близ народной трибуны. Слева возвышались крутые стены немой крепости – Капитолийский холм.

На ступенях храмов, взбираясь на Капитолий, заполняя Ростру, ревела толпа, а отряд конницы быстро теснил ее. Из воплей и восклицаний ста тысяч глоток Амон с изумлением узнал, что император увеселял себя посещением вертепов, и потому вокруг арены его разврата было предусмотрительно расчищено пространство.

Амон хотел вернуться, но толпа отхлынула к Широкой улице, которая кончалась у форума, справа от колонны Антонина и слева от колонны Траяна. Постепенно с Капитолийских высот исчезли все люди. Они, понося императора, рассеялись по кварталу Изиды и Сераписа, охватывающему с юга Целийский холм, а с севера высоты Эсквилина.

Форум опустел, и Амон мог теперь рассмотреть с Широкой улицы Элагабала в открытой лектике, окруженной другими лектиками, с факелами и фонарями. Впереди императора, с мерным стуком копыт о камни, ехал конный отряд. Во главе всадников, катафрактариев, Амон узнал Атиллия с мечом в руке, исполнявшего обязанности примицерия императорской гвардии.

Когда он, оттесняя толпу, приказал коннице двинуться по Широкой улице, раздался продолжительный взрыв гневных криков. Тысячи кулаков поднялись, проклиная Атиллия:

– Горе тебе, патриций, побуждающий Элагабала теснить нас!

– Прочь! Прочь! Пусть родившая тебя отречется от тебя навек!

- Что тебе здесь надо, римлянин, продавший Рим Авиту?
- Ты – позор империи!

Но Атиллий оставался нем под потоком оскорблений, и только направлял на толпу своих воинов, которые били народ древками копий. А Элагабал лежал на подушках своей лектики, покачивающейся на плечах носильщиков, блестящих в свете плывущей по небу луны.

Амон не хотел верить, чтобы его молчаливый спутник на корабле, грустно бороздившим волны Внутреннего моря, и военачальник, спасший его во рву преторианского лагеря, мог быть вождем грубого отряда, кони которого так жестоко теснили толпу. И он вспомнил то, о чем говорили втихомолку со дня воцарения Черного Камня: колоссальный разврат, мужская любовь, обожествленная Элагабалом, отдававшимся своим вольноотпущенникам; смешение всех богов в одном храме; предполагаемое и устранившее всех исчезновение детей знатных семей для принесения в жертву Солнцу; покровительство христианам, тайно поддерживающим власти; наконец, все возрастающая изо дня в день победа Востока над Западом, – все это приписывали Атиллию. Ему придавали черты чудотворца, причастного к ужасным тайнам, и называли властителем дум юного императора, который под влиянием неслыханных чар забыл свое происхождение (он был римлянин по рождению) и поклялся уничтожить богов Рима, его установления, его народ и возвеличить Черный Камень. Некоторые говорили, что Восток мстит Западу, потворствуя всеобщей похоти, которая скоро разрушит государство, если им не будет править энергичная рука.

Рядом с Амоном кричали двое, один из них заклинал:

– Я призываю богов в свидетели! Долго ли они будут терпеть кощунства Элагабала и не пошлют ли они легионы, чтобы свергнуть его?

А другой отвечал с диким восторгом:

– Пусть работает гниение, гражданин, и пусть оно навсегда унесет тело! К чему легионы, когда смерть налицо.

– Заль! – продолжал первый. – Твои слова опасны. Я, римлянин древнего рода, говорю тебе, персу, сыну раба, что империя погибнет жалким образом, если позволит властвовать над собой побежденным варварам.

Заль возмутился:

– Знай, что побежденные варвары будут приветствовать падение Рима, если ему определено погибнуть. Что же касается меня, о гражданин, знающий мое имя, то я мало беспокоюсь об империи, и мне не о чем говорить с тобой, которого я не знаю. Прощай!

Заль отвернулся от собеседника, пришедшего в ярость:

– Я говорю, что ты христианин!

– Что еще?

И Заль поднял презрительно свою изящную, восторженную голову, скрестил руки на груди. Из окружающей их толпы прозвучал голос:

– Ударь его, Карбо!

– Да!

Огромный кулак опустился на Заля, кровь показалась на лице. Не защищаясь, он скрестил руки, едва шевеля губами, ожидая нового насилия, но в это время отброшенная воинами толпа быстро рассеялась через Виминал, оставив Заля в статическом воодушевлении, а Амона – окаменевшим от ужаса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.